

*Александр*  
*ДИОМА*

Александр Дюма

**Белые и синие**

1867

## **Дюма А.**

Белые и синие / А. Дюма — 1867

Роман «Белые и синие», написанный в 1867 г., входит в число книг А.Дюма, посвященных Великой Французской революции и истории Франции ближайших за ней лет. Большое место в нем отведено теме возвышения бывшего революционера-якобинца генерала Наполеона Бонапарта (1769 – 1821), великого полководца и реформатора военного искусства, ставшего в 1799 – 1804 гг. диктатором, а в 1804 – 1814 и 1815 гг. – императором.

## Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
Часть первая. Пруссаки на Рейне	7
I. ИЗ ГОСТИНИЦЫ «ПОЧТОВАЯ» В ГОСТИНИЦУ «У ФОНАРЯ»	7
II. ГРАЖДАНКА ТЕЙЧ	12
III. ЕВЛОГИЙ ШНЕЙДЕР	17
IV. ЭЖЕН ДЕ БОГАРНЕ	22
V. МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ БРЁН	26
VI. МЕТР НИКОЛА	33
VII. «ЛЮБОВЬ К ОТЦУ, ИЛИ ДЕРЕВЯННАЯ НОГА»	36
VIII. ВЫЗОВ	40
IX. ШАРЛЬ АРЕСТОВАН	44
X. ПРОГУЛКА ШНЕЙДЕРА	48
XII. СЕН-ЖЮСТ	53
XIII. СВАДЬБА ЕВЛОГИЯ ШНЕЙДЕРА	57
XIV. ПОЖЕЛАНИЯ	60
XVI. ШАПКА	68
XVIII. ПРИЕМ, ОКАЗАННЫЙ ШАРЛЮ	76
XIX. ШПИОН	80
XX. ПРОРОЧЕСТВО ОБРЕЧЕННОГО	85
XXI. НАКАНУНЕ СРАЖЕНИЯ	89
XXII. СРАЖЕНИЕ	92
XXIII. ПОСЛЕ СРАЖЕНИЯ	96
XXIV. ГРАЖДАНИН ФЕНУЙО, РАЗЪЕЗДНОЙ ТОРГОВЕЦ ШАМПАНСКИМИ ВИНАМИ	99
XXV. ЕГЕРЬ ФАЛУ И КАПРАЛ ФАРО	103
XXVI. ПОСЛАНЕЦ ПРИНЦА	107
XXVII. ОТВЕТ ПИШЕГРЮ	111
XXVIII. ВЕНЧАНИЕ ПОД БАРАБАН	116
XXIX. ПРУССКИЕ ПУШКИ ПО ШЕСТЬСОТ ФРАНКОВ ЗА ШТУКУ	121
XXX. ШАРМАНКА	125
XXXI. ГЛАВА, В КОТОРОЙ ПЛАН ШАРМАНЩИКА ПРОЯСНЯЕТСЯ	129
XXXII. ТОСТ	133
Конец ознакомительного фрагмента.	136

# Александр Дюма

## Белые и синие

### ПРЕДИСЛОВИЕ

В предисловии к «Соратникам Иегу» я уже рассказывал, как создавался тот роман; прочитавшие его могут судить о том, что именно я почерпнул для осуществления своего замысла у Нодье, который был очевидцем смерти четверых из Соратников: я заимствовал у него развязку.

«Белые и синие» – продолжение «Соратников Иегу», и не удивительно, что я заимствую его начало снова у Нодье.

В пору долгой болезни, постепенно уносившей силы Нодье, я был одним из самых частых гостей у него в доме; он, когда был здоров, не успел прочесть моих книг из-за своих неустанных трудов и поэтому, будучи прикованным к постели, попросил принести ему семьсот-восемьсот томов, которые я опубликовал к тому времени, и прочел их залпом.

По мере того как он знакомился с моей творческой манерой, его вера в меня как в литератора возрастала, и всякий раз, когда я начинал говорить о нем самом, он отвечал: «О! Мне всегда недоставало времени; моего досуга хватало лишь на то, чтобы делать наброски; вы же, если бы у вас было то-то или то-то, из чего я сделал бы рассказ в двести строк, вы бы написали десять томов!...»

Так, он рассказал мне сюжет, занимавший четыре страницы, на основе которого я написал три тома «Соратников Иегу»; он рассказал мне историю Евлогия Шнейдера, из которой, как он утверждал, я мог бы сделать десять томов.

«Безусловно, мой верный друг, – сказал он мне однажды, – вы напишете эти тома, и, если что-нибудь из созданного нами переживет нас, там, наверху, я буду наслаждаться вашим успехом и тешить свое тщеславие мыслью, что тоже приложил к этому руку».

Итак, я написал «Соратников Иегу», и после успеха романа мною овладело мучительное желание написать новую книгу, взяв «Сцены революции» Нодье за отправную ее точку, подобно тому как я воспользовался его «Термидорианской реакцией» для окончания предыдущей книги, – итак, мною овладело мучительное желание написать большой роман под названием «Белые и синие» на основе воспоминаний, услышанных мной из уст Нодье, а также запечатленных в его книгах.

Однако в начале работы меня охватили сомнения. На сей раз мне предстояло не только заимствовать несколько страниц у старого друга, но и вывести его самого в качестве героя.

Тогда я написал моей дорогой сестре Марии Меннесье письмо с просьбой разрешить мне еще раз совершить то, что я уже сделал один раз без ее разрешения, а именно: взять для моего дичка черенок от отцовского дерева.

Вот что она мне ответила:

«Все что захотите и когда захотите, дорогой брат Александр! Я отдаю Вам душу моего отца с тем же предельным доверием, как если бы это был Ваш отец, ибо его воспоминания, его память будут в надежных руках.

Мари Меннесье-Нодье».

С тех пор ничто больше не удерживало меня; поскольку мой план был готов, я тотчас же принялся за работу.

И вот теперь я приступаю к публикации этой книги; однако, прежде чем вынести ее на суд читателя, мне следует исполнить долг памяти, и я его исполняю.

**ЭТА КНИГА ПОСВЯЩАЕТСЯ МОЕМУ ЗНАМЕНИТОМУ ДРУГУ И СОАВТОРУ ШАРЛЮ НОДЬЕ.**

Я назвал имя своего соавтора, чтобы читатель не утруждал себя поисками другого человека: это был бы напрасный труд!

Александр Дюма.

## Часть первая. Пруссаки на Рейне

### І. ИЗ ГОСТИНИЦЫ «ПОЧТОВАЯ» В ГОСТИНИЦУ «У ФОНАРЯ»

Двадцать первого фримера II года Республики (11 декабря 1793 года), в девять часов вечера, дилижанс, прибывший из Безансона в Страсбург, остановился в глубине двора гостиницы «Почтовая», расположенной позади собора.

Из кареты вышли пять пассажиров; к одному из них, самому юному, нам следует приглядеться внимательнее.

Это был изящный бледный подросток лет тринадцати-четырнадцати, которого можно было принять за переодетую девушку, настолько кротким и задумчивым было выражение его лица; его темно-каштановые волосы были подстрижены «под Тита» (эту прическу носили ревностные республиканцы, желавшие походить на Тальма); ресницы того же цвета обрамляли его светло-голубые глаза, вопросительно и необычайно серьезно взиравшие на людей и окружающий мир. У мальчика были тонкие губы, красивые зубы и обаятельная улыбка; его сшитый по тогдашней моде, хотя и не щегольской наряд был весьма опрятным: тут явно не обошлось без заботливой женской руки.

Возница, видимо проявлявший о мальчике необычайную заботу, передал ему небольшую сумку, похожую на солдатский ранец, который носят за спиной на двух лямках. Затем, оглядевшись вокруг, он закричал:

– Эй! Нет ли тут кого-нибудь из гостиницы «У фонаря», кто встречает молодого путешественника из Безансона?

– Я здесь, – откликнулся чей-то резкий, грубый голос. Человек, похожий на конюха, оставался в темноте, ибо фонарь в его руке освещал лишь мостовую; он обошел огромную карету и приблизился к открытой дверце.

– А, это ты, Соня! – сказал кучер.

– Меня зовут не Соня, мое имя Коклес, – кичливо возразил конюх, – и я пришел за гражданином Шарлем...

– По поручению гражданки Тейч, не так ли? – послышался нежный голос мальчика, приятно звучащий по сравнению с грубым голосом конюха.

– Так точно, от гражданки Тейч. Ну как, ты готов, гражданин?

– Кучер, – промолвил подросток, – вы скажете дома...

– ...что вы благополучно добрались и что вас встретили; будьте покойны, господин Шарль.

– Вот те на! – воскликнул конюх почти угрожающим тоном, подходя вплотную к вознице и мальчику, – вот те на!

– Ну, и как прикажешь понимать твое «вот те на»?

– Я хочу сказать, что твои речи, возможно, пристали жителю Франш-Конте, но не Эльзаса.

– Вот как! – насмешливо отозвался кучер, – и это все, что ты хочешь сказать?

– И еще я хочу дать тебе совет, – продолжал гражданин Коклес, – оставь в своем дилижансе всяческие «вы» и «господин», ввиду того что подобные обращения неуместны в Страсбуре, особенно с тех пор как нам выпало счастье принимать в наших стенах граждан народных представителей Сен-Жюста и Леба.

– Не сбивай меня с толку своими гражданами народными представителями и отведи-ка лучше этого молодого человека в гостиницу «У фонаря».

С этими словами, не придав значения советам гражданина Коклеса, возница скрылся в гостинице «Почтовая».

Человек с фонарем посмотрел ему вслед, бормоча что-то себе под нос, и затем обернулся к мальчику.

– Пошли, следуй за мной, гражданин Шарль, – сказал он и зашагал впереди, указывая дорогу.

В любую пору Страсбур оставался невеселым городом, в особенности через два часа после сигнала вечерней зори; но никогда еще он не был более безрадостным, чем в те времена, с которых начинается это повествование, то есть в первой половине декабря 1793 года; австро-прусская армия буквально стояла у ворот города; главнокомандующий Рейнской армией генерал Пишегрю, с трудом собрав остатки войска, с помощью своей воли и личного примера восстановил дисциплину и возобновил наступление 18 фримера, то есть за три дня до описываемых событий; будучи не в состоянии дать противнику настоящий бой, он прибегнул к тактике перестрелок и рукопашных схваток.

Пишегрю явился на смену Ушару и Кюстину, уже обезглавленным за неудачи, и Александру де Богарне, которого также вскоре ждала гильотина.

Вдобавок, прибывшие в Страсбур Сен-Жюст и Леба не просто приказали Пишегрю победить, а вынесли постановление об этом и первыми рвались в бой.

Гильотина сопровождала их повсюду, чтобы немедленно приводить декреты в исполнение.

В тот день было издано три декрета.

Первый из них предписывал закрывать ворота Страсбура в три часа пополудни; любого, по чьей вине они будут закрыты хотя бы на пять минут позже срока, ждала смертная казнь.

Второй декрет запрещал отступать перед лицом врага. Смертная казнь ждала любого, кто повернется спиной к неприятелю на поле битвы – будь то кавалерист, что пустит своего коня вскачь, или пехотинец, что ускорит шаг.

Третий декрет предписывал военным спать в одежде на случай внезапных нападений, на которые не скупился противник. Смертная казнь грозила любому солдату, офицеру или военачальнику, которого застанут раздетым.

Не пройдет и шести дней, как мальчику, только что вступившему в город, предстоит увидеть эти декреты в действии.

Все эти обстоятельства, как уже было сказано, вместе с поступавшими из Парижа вестями, придавали Страсбуру – от природы мрачному городу – еще более мрачный характер.

– Из Парижа поступили известия о казни королевы, казни герцога Орлеанского, казни г-жи Ролан и казни де Байи.

В городе также поговаривали о близившемся освобождении Тулона от англичан, но это были всего лишь непроверенные слухи.

Так что в это время Страсбур представлял перед человеком со стороны отнюдь не в радужных тонах.

После девяти часов на темных узких улочках города хозяйничали патрули национальной гвардии и общества «Пропаганда», следившие за общественным порядком.

В самом деле, до чего же зловещими должны были казаться путешественнику, прибывшему из мирного не приграничного города, эти ночные звуки чеканных шагов, которые внезапно замирали, после чего раздавался приглушенный приказ командира и лязг металла всякий раз, когда один дозор встречался с другим и они обменивались паролями.

Два-три таких отряда уже прошли мимо нашего юного героя и его провожатого, не обратив на них внимания, как вдруг показался новый патруль и в ночи послышались слова: «Стой, кто идет?»

В Страсбуре отвечали на оклик дозора тремя различными способами, каждый из которых довольно красноречиво свидетельствовал о политических взглядах человека.

Равнодушные отвечали: «Друзья». Умеренные отвечали: «Граждане». Ярые революционеры отвечали: «Санкюлоты».

– Санкюлот! – решительно воскликнул Коклес в ответ на обращенный к нему вопрос.

– Подойди сюда! – прогремел повелительный голос.

– А! Прекрасно, – сказал Коклес, – я узнаю его: это гражданин Тетрель; я сейчас все улажу.

– Что за гражданин Тетрель? – поинтересовался юноша.

– Друг народа, гроза аристократов – одним словом, безупречный человек! И Коклес направился к патрулю спокойной походкой человека, которому нечего бояться.

– Это я, гражданин Тетрель, это я!

– А! Так ты меня знаешь, – проговорил командир отряда, великан ростом в пять футов десять дюймов, высота которого вместе со шляпой, увенчанной плюмажем, достигала семи футов.

– А как же! Кто же в Страсбург не знает гражданина Тетреля? – промолвил Коклес, и, поравнявшись с гигантом, он прибавил: – Добрый вечер, гражданин Тетрель!

– Прекрасно, что ты меня знаешь, – отозвался великан, – но я-то тебя не знаю.

– О! Это не так! Ты меня знаешь: я гражданин Коклес, а при тиране меня звали Соней; ты сам окрестил меня таким именем, когда твои лошади и собаки бывали в гостинице «У фонаря». Соня! Неужели ты не помнишь Соню?

– Ну да! Я прозвал тебя так, потому что ты был самым ленивым из плутов, каких я когда-либо видывал. А что это за юноша?

– Этот? – переспросил Коклес, приподнимая фонарь на уровень лица мальчика. – Это парень, которого отец отправил к господину Евлогию Шнейдеру учиться греческому.

– И чем же занимается твой отец, дружище? – обратился Тетрель к Шарлю.

– Он председатель суда в Безансоне, гражданин, – отвечал мальчик.

– Однако, чтобы учиться греческому, надо знать латынь.

Мальчик выпрямился.

– Я ее знаю, – сказал он.

– Как, уже знаешь?

– Да. Когда я жил в Безансоне, мы с отцом всегда говорили только на латыни.

– Черт возьми! Мне кажется, этот парень развит не по годам. Сколько же тебе лет – одиннадцать-двенадцать, не кли?

– Мне скоро будет четырнадцать.

– И с какой стати твой отец решил послать тебя к гражданину Евлогию Шнейдеру учиться греческому?

– Дело в том, что мой отец не столь силен в греческом, как в латыни. Он научил меня тому, что знал сам, а затем отправил к гражданину Шнейдеру, который свободно говорит по-гречески, так как занимал кафедру греческого языка в Бонне. Смотрите, вот письмо отца, которое я должен передать. Кроме того, неделю тому назад отец написал ему еще раз, чтобы предупредить о моем приезде, и тот заказал для меня комнату в гостинице «У фонаря», а также послал сегодня гражданина Коклеса меня встретить.

С этими словами мальчик вручил письмо гражданину Тетрелю, дабы подтвердить, что сказал правду.

– Ну-ка, Соня, придвинь свой фонарь, – приказал Тетрель.

– Коклес! Зовите меня Коклес! – возразил конюх, услышав свое старое прозвище, но тем не менее подчинился приказу.

– Мой юный друг, – промолвил Тетрель, – позволь заметить, что это письмо адресовано вовсе не гражданину Шнейдеру, а гражданину Пишегрю.

– Ах, простите, я, ошибся, – живо ответил мальчик, – отец вручил мне два письма, и я, должно быть, дал вам не то письмо.

Он забрал у Тетреля письмо и вручил ему другое.

– На сей раз, – сказал великан, – все точно:

«Общественному обвинителю гражданину Евлогию Шнейдеру».

– Елогию Шнейдеру, – повторил Коклес, переделав на свой лад имя общественного обвинителя, по его мнению искаженное Тетрелем.

– Ну-ка, преподай твоему провожатому урок греческого языка, – засмеялся командир патруля, – и растолкуй ему, что имя Евлогий означает... Ну-с, молодой человек, что значит Евлогий?

– «Красноречивый», – ответил мальчик.

– Клянусь честью, отличный ответ! Ну что, ты слышал, Свня?

– Коклес! – упрямо повторил конюх, отстаивавший свое имя с куда большим рвением, чем имя общественного обвинителя.

Между тем Тетрель отвел мальчика в сторону и прошептал ему на ухо:

– Ты идешь в гостиницу «У фонаря»?

– Да, гражданин, – ответил мальчик.

– Ты встретишься там с двумя земляками из Безансона, которые приехали защищать и требовать освобождения генерал-адъютанта Шарля Перрена, обвиненного в измене.

– Да, это граждане Дюмон и Баллю.

– Так точно. Ну вот, передай им, что, пока они остаются здесь, пусть не только не рассчитывают на спасение своего подопечного, но также не ждут ничего хорошего для себя. Видишь ли, речь попросту идет об их жизни.

– Я не понимаю, – отозвался мальчик.

– Неужто ты не понимаешь, что Сен-Жюст прикажет свернуть им шеи, как двум цыплятам, если они останутся здесь? Посоветуй им убраться отсюда, и как можно быстрее.

– На кого мне сослаться?

– Не вздумай этого делать, а не то меня заставят расплачиваться за разбитые, то есть за неразбитые горшки.

Затем, выпрямившись, он произнес:

– Отлично, вы благонадежные граждане, ступайте своей дорогой. И вы тоже – вперед, шагом марш!

Гражданин Тетрель удалился во главе своего отряда, оставив гражданина Коклеса исполненным гордости оттого, что он в течение десяти минут разговаривал со столь важной особой, и приведя гражданина Шарля в смятение своим сообщением.

Оба молча продолжали свой путь.

Стояла пасмурная, унылая погода, как водится в декабре на севере и востоке Франции; несмотря на то что близилось полнолуние, огромные черные тучи, бежавшие друг за другом, словно волны на экваторе, то и дело закрывали луну.

Чтобы добраться до гостиницы «У фонаря», расположенной на бывшей улице Архиепископства, ныне улице Богини Разума, нужно было пересечь Рыночную площадь, в конце которой возвышался помост; погруженный в свои мысли, мальчик едва не налетел на это сооружение.

– Берегись, гражданин Шарль, – рассмеялся конюх, – ты сейчас разнесешь гильотину.

Шарль вскрикнул и в ужасе отшатнулся.

И тут из-за туч ненадолго выглянула луна, явив их взорам страшное орудие, и бледный, печальный свет на миг озарил нож гильотины.

– Господи! Неужели это пускают в ход? – простодушно спросил мальчик, прижимаясь к Коклесу.

– Ты спрашиваешь, пускают ли это в ход? – весело откликнулся конюх. – А то как же, причем каждый день. Сегодня настал черед мамыши Резен. Она попала сюда несмотря на свои восемьдесят лет. Напрасно она кричала палачу: «Послушай, сынок, не стоит меня убивать: подожди немного, и я сама околею»; она рухнула так живо, как будто ей было только двадцать.

– Что же сделала эта несчастная женщина?

– Она дала ломоть хлеба голодному австрийцу. Напрасно она объясняла, что приняла его за земляка, поскольку он просил есть по-немецки; ей отвечали, что со времен не помню какого тирана эльзасцы и австрийцы уже не соотечественники.

Бедный мальчик, впервые покинувший отчий дом и никогда еще не испытывавший столько разнообразных чувств за один-единственный вечер, почувствовал озноб. Что было тому виной – погода или рассказ Коклеса? Он окинул прощальным взглядом орудие смерти, которое снова, вслед за луной, скрылось в ночи, подобно призраку, и спросил, дрожа всем телом:

– Далеко ли еще до гостиницы «У фонаря»?

– Да нет, право, вот и она, – отозвался Коклес, указывая ему на огромный фонарь, висевший над воротами и освещавший улицу на двадцать шагов.

– Как раз вовремя! – пробормотал мальчик, стуча зубами.

Пробежав остаток пути, то есть десять-двенадцать шагов, он отворил дверь гостиницы, выходящую на улицу, и устремился, крича от радости, на кухню, в необъятном оча-те которой пылал сильный огонь. Госпожа Тейч отвечала на его крик таким же радостным возгласом; она никогда не видела Шарля, порученного ей, но сразу поняла, кто это, потому что его привел Коклес, также появившийся на пороге с фонарем в руке.

## II. ГРАЖДАНКА ТЕЙЧ

Гражданка Тейч, толстая пышущая здоровьем эльзаска лет тридцати – тридцати пяти, питала поистине материнскую нежность к путешественникам, которых посылало ей Провидение; эта нежность удваивалась, когда путешественники оказывались юными миловидными отроками того же возраста, что и мальчик, только что присевший к очагу ее кухни, где, кстати, не было других гостей.

Она тотчас же бросилась к нему, а он, все еще продолжая Дрожать, протягивал руки и ноги к огню.

– Ах, маленький, почему же он так дрожит и отчего он такой бледный?

– Еще бы, гражданка, – разразился грубым смехом Коклес, – я не поручусь за свои слова, но сдастся мне, дрожит он оттого, что ему холодно, а бледен потому, что налетел на гильотину. Кажется, он понятия не имел об этой машине и она произвела на него впечатление; ну и глупый народ эти дети!

– Ты бы помолчал, дурак!

– Благодарю, хозяйка; это мне вместо чаевых, не так ли?

– Нет, дружище, – откликнулся Шарль, доставая из кармана мелкую монету, – вот вам на чай!

– Спасибо, гражданин, – сказал Коклес, одной рукой приподнимая шляпу и протягивая другую мальчику. – Черт возьми! Серебряная монета! Неужели во Франции еще водятся такие деньги? Я-то думал, что все серебро увезли; теперь я понимаю, что это только слухи, которые распускают аристократы, как говорил Тетрель.

– Ладно, проваливай к своим лошадям и оставь нас в покое! – прикрикнула на него гражданка Тейч.

Коклес, ворча, вышел из комнаты.

Госпожа Тейч присела у очага и, подавив легкое сопротивление Шарля, посадила его к себе на колени.

Как уже было сказано, мальчику шел четырнадцатый год, но выглядел он всего лишь на десять-одиннадцать лет.

– Послушайте, дружок, – сказала хозяйка, – то, что я вам сейчас скажу, послужит для вашего блага, чего я вам желаю; если у вас есть деньги, не следует их показывать, а нужно часть обменять на ассигнаты; поскольку у ассигнатов твердый курс и луидор стоит пятьсот франков, вы получите прибыль и в вас не заподозрят аристократа.

Затем ее мысли потекли по иному руслу.

– Надо же, у этого бедного малыша ручки совсем как ледышки!

Она взяла его руки в свои и поднесла их к огню, словно он был совсем маленьким.

– Ну а теперь, – сказала она, – перейдем к делу: сперва мы слегка поужинаем.

– О сударыня, нет, большое спасибо, мы пообедали в Эрстене, и я совсем не голоден. Я предпочел бы лечь спать: я чувствую, что окончательно согреюсь только в постели.

– Ну ладно, в таком случае вам сейчас согреют постель, да еще подадут чего-нибудь вкусенького; затем, когда вы уляжетесь, вам принесут чашечку... так чего – молока или бульона?

– Молока, если можно.

– Стало быть, молока! И правда, бедный малыш, вчера он еще сосал соску, а сегодня, глядите, бродит по дорогам совсем один, как мужчина. Ах, мы живем в невеселые времена!

Она приподняла Шарля и посадила его на стул, а сама пошла к полке, чтобы выбрать ключи к подходящей для него комнате.

– Так-так, – сказала она, – пятая, вот она... Нет, эта комната слишком велика, и окно там плохо закрывается: бедный ребенок озябнет. Девятая... Нет, это двухместный номер. А!

Четырнадцатая... вот что ему подойдет: комнатка с удобной кроватью, занавески которой защитят его от сквозняка, и хорошеньким каминчиком, который не чадит, с младенцем Иисусом наверху – это принесет ему удачу. Гретхен! Гретхен!

На ее призыв прибежала красивая эльзаска лет двадцати, в прелестном наряде, несколько напоминавшем костюм женщин Арля.

– В чем дело, хозяйка? – спросила она по-немецки.

– А вот в чем: надо приготовить четырнадцатый номер для этого ангелочка и подобрать ему самые тонкие и сухие простыни, а я тем временем сделаю для него гогель-могель.

Гретхен взяла подсвечник, зажгла свечу и поспешила исполнить приказ хозяйки.

Гражданка Тейч вернулась к Шарлю.

– Понимаете ли вы по-немецки? – спросила она.

– Нет, сударыня, но, если я останусь в Страсбуре надолго, что весьма вероятно, надеюсь его выучить.

– Знаете ли вы, почему я поселила вас в четырнадцатом номере?

– Да, я слышал то, что вы говорили в своем монологе...

– Боже правый! В моем монологе! Что это значит?

– Сударыня, это французское слово, образованное из двух греческих слов: «монос», что переводится как «один», и «логос», что значит «говорить».

– Милое дитя, в ваши годы вы уже знаете греческий! – всплеснула руками г-жа Тейч.

– О! Совсем немного, сударыня, и для того, чтобы лучше изучить его, я и приехал в Страсбур.

– Вы приехали в Страсбур, чтобы учиться греческому?

– Да, у господина Евлогия Шнейдера. Госпожа Тейч покачала головой.

– О сударыня, он владеет греческим языком, как Демосфен, – промолвил Шарль, решив, что г-жа Тейч усомнилась в учености его будущего преподавателя.

– Я не возражаю, а хочу сказать: как бы хорошо он его ни знал, у него не будет времени вас учить.

– Чем же он занимается?

– Вы меня спрашиваете об этом?

– Конечно, я вас об этом спрашиваю. Госпожа Тейч понизила голос.

– Он рубит головы, – прошептала она. Шарль вздрогнул.

– Он... рубит... головы? – переспросил он.

– Разве вы не знаете, что он общественный обвинитель? Ах, бедное дитя, ваш отец избрал для вас странного учителя греческого языка!

Мальчик ненадолго задумался.

– Это он приказал сегодня отрубить голову мамаше Резен?

– Нет, это «Пропаганда».

– Что такое «Пропаганда»?

– Это общество, распространяющее революционные идеи. Каждый рубит со своей позиции: гражданин Шнейдер как общественный обвинитель, гражданин Сен-Жюст как народный представитель и гражданин Тетрель как глава «Пропаганды».

– На всех этих людей не хватит одной гильотины, – заметил мальчик с не по возрасту значительной улыбкой.

– Поэтому у каждого из них – собственная гильотина!

– Мой отец наверняка об этом не знал, – пробормотал мальчик, – когда посылал меня сюда.

Поразмыслив какое-то время, он заявил с решимостью, которая свидетельствовала о недетской отваге.

– Что ж, раз я уже здесь, то я остаюсь. Затем, сменив тему, он продолжал:

– Вы говорили, госпожа Тейч, что дали мне комнату номер четырнадцать, потому что она невелика, кровать там с занавесками и камин не чадит?

– И еще по одной причине, милый мальчик.

– По какой же?

– В пятнадцатом номере вы найдете славного молодого товарища, чуть-чуть постарше вас; это не страшно, вы его развеселите.

– Значит, он грустит?

– Да, ужасно грустит; ему едва исполнилось пятнадцать, а это уже маленький мужчина.

В самом деле, он здесь в связи с неприятным делом: его отец, который был главнокомандующим Рейнской армии до гражданина Пишегрю, обвиняется в измене. Представляете, этот несчастный и милейший человек жил здесь! Я готова побиться об заклад на что угодно, что он виноват не больше нас с вами, но он из «бывших», а вы знаете, что им не доверяют. Так вот, я говорила, что молодой человек находится здесь, чтобы снять копию с документов, которые должны подтвердить, что его отец невиновен. Знаете ли, этот мальчик – святой, он корпит над бумагами с утра до вечера.

– Ну что ж, я ему помогу, – сказал Шарль, – у меня хороший почерк.

– В добрый час! Вот что значит настоящий товарищ! И г-жа Тейч восторженно расцеловала своего гостя.

– Как его зовут? – спросил Шарль.

– Его зовут гражданин Эжен.

– Эжен – это только имя.

– Да, разумеется, у него есть фамилия, такая чудная фамилия... Пойдите! Его отец был маркизом... пойдите-ка...

– Я стою, госпожа Тейч, стою, – со смехом промолвил мальчик.

– Это просто оборот речи, вы же знаете, что так говорят... Его фамилия похожа на штурковину, которую кладут на спину лошади... на конскую сбрую... ну да, Богарне, Эжен де Богарне, но сдастся мне, что из-за этого «де» его зовут просто Эжен.

Этот разговор оживил в памяти юноши наставления Тетреля.

– Кстати, госпожа Тейч, – промолвил он, – не у вас ли остановились двое уполномоченных коммуны Безансона?

– Ну да, они приехали требовать освобождения вашего земляка – господина генерал-адъютанта Перрена.

– Выдадут ли его им?

– Ба! Он поступил мудро, не дожидаясь решения Сен-Жюста.

– Что же он сделал?

– Он сбежал в минувшую ночь.

– И его не поймали?

– Пока нет.

– Я очень рад: это друг моего отца, и я тоже его очень любил.

– Только не хвастайтесь этим здесь.

– А мои земляки?

– Господа Дюмон и Баллю?

– Да. Почему они еще здесь, ведь тот, за которого они приехали хлопотать, уже не в тюрьме?

– Его будут судить заочно, и они собираются защищать его так же, как если бы он был здесь.

– Ясно, – прошептал мальчик, – теперь я понимаю совет гражданина Тетреля.

Затем он спросил вслух:

– Могу ли я повидать их вечером?

– Кого?

– Граждан Дюмона и Баллю.

– Конечно вы можете их повидать, если изволите подождать, но знайте: когда они отправляются в клуб «Права человека», то не возвращаются раньше двух часов ночи.

– Я не смогу их дожидаться, так как слишком устал, – сказал мальчик.

– Вы могли бы передать им мою записку, когда они вернутся, не так ли?

– Разумеется.

– Только им, прямо в руки?

– Только им, прямо в руки.

– Где можно писать?

– В кабинете, если вы согрелись.

– Да, мне уже не холодно.

Госпожа Тейч взяла со стола лампу и перенесла ее на письменный стол, стоявший в небольшом кабинете, отгороженном проволочной решеткой, наподобие птичьей клетки.

Молодой человек последовал за ней. Здесь он и написал на бумаге с эмблемой гостиницы «У фонаря» следующее послание:

«Земляк, которому доподлинно известно, что вы будете незамедлительно арестованы, призывает вас как можно скорее вернуться в Безансон».

Сложив и запечатав письмо, он вручил его г-же Тейч.

– Вот как, вы не ставите свою подпись? – спросила хозяйка.

– Это не имеет значения; вы им сами скажете, что записка от меня.

– Непременно.

– Если завтра утром они еще будут здесь, задержите их, пока я с ними не поговорю.

– Будьте покойны.

– Вот и я! Все сделано, – сказала Гретхен, входя в комнату и стуча своими сабо.

– Постель готова? – спросила г-жа Тейч.

– Да, хозяйка, – ответила Гретхен.

– Камин растоплен?

– Да.

– Теперь положите угли в грелку и проводите гражданина Шарля в его комнату. А я пойду приготовлю ему гогель-могель.

Гражданин Шарль настолько устал, что без возражений последовал за мадемуазель Гретхен, которая несла грелку.

Десять минут спустя, когда мальчик уже лежал в постели, г-жа Тейч зашла к нему с гоголем-могелем, накормила им сонного Шарля, похлопала его по щекам, по-матерински укутала одеялом, пожелала доброго сна и удалилась, унося с собой свечу.

Однако пожелания славной г-жи Тейч исполнились лишь наполовину, ибо в шесть часов утра все постояльцы гостиницы «У фонаря» были разбужены шумом голосов и бряцанием оружия: солдаты стучали прикладами своих ружей, с размаха ударяя о пол, в коридорах слышались поспешные шаги и с грохотом открывались двери.

Шарль проснулся, приподнялся и сел на кровати.

В тот же миг его комната разом наполнилась светом и шумом. Полицейские и сопровождавшие их жандармы ворвались в номер, грубо вытащили мальчика из постели и стали его допрашивать. Они спросили его имя и фамилию, с какой целью он прибыл в Страсбург и давно ли значится в городе, заглянули под кровать, обшарили камин, открыли шкафы и удалились столь же быстро, как и вошли, а ошеломленный мальчик застыл в ночной рубашке посреди комнаты.

Очевидно, у гражданки Тейч проводили один из столь частых в ту пору обысков и вызван он был отнюдь не появлением нового гостя.

Мальчик решил, что лучше всего снова лечь в кровать, предварительно закрыв дверь, и уснуть, если получится.

Приняв и осуществив это решение, он едва успел натянуть на себя одеяло, как шум в доме стих, но тут дверь в его комнату снова распахнулась и на пороге показалась г-жа Тейч в кокетливом пеньюаре и с подсвечником в руке.

Она ступала очень тихо, открыла дверь бесшумно и приложила палец к губам, показывая Шарлю, который шум ленно глядел на нее, приподнявшись на локте, что он должен молчать.

Мальчик, уже успевший свыкнуться с этой беспокойной жизнью, что началась для него всего лишь накануне, молчал, повинуясь обращенному к нему жесту.

Гражданка Тейч тщательно заперла за собой дверь, поставила подсвечник на камин, взяла стул и осторожно присела к изголовью кровати, на которой лежал мальчик.

– Ну, дружок, – спросила она, – вы сильно перепугались, не так ли?

– Не так уж сильно, – возразил Шарль, – ведь я понял, что эти люди охотятся не за мной.

– Все равно: вы вовремя предупредили своих земляков.

– Ах! Значит, это искали их?

– Именно их. К счастью, они вернулись в два часа ночи, и я вручила им вашу записку; они перечитали ее дважды и спросили, кто мне ее передал. Я сказала все про вас; после этого они недолго посоветовались и сказали: «Пошли! Пошли! Надо уходить!» – и тут же принялись укладывать вещи, послав Сою узнать, остались ли места в дилижансе, который отправляется в пять утра в Безансон; хорошо, что оказалось как раз два свободных места. Соня их заказал, но, чтобы эти места не заняли, пришлось уйти отсюда в четыре часа; стало быть, когда именем закона приказали открыть дверь, ваши земляки уже с час как были на пути в Безансон. Но, вообразите, в спешке они забыли или выронили записку, которую вы им написали, и люди из полиции ее нашли.

– О! Не беда, под запиской нет моей подписи, и никто в Страсбург не знает моего почерка

– Да, но она была написана на бумаге гостиницы «У фонаря», поэтому они набросились на меня и потребовали сказать, кто написал послание на моей бумаге.

– Ах! Черт возьми!

– Вы, конечно, понимаете, что я скорее дала бы им вырвать свое сердце, чем выдала бы вас. Бедный голубчик! Ведь они бы вас забрали. Я ответила, что, когда постояльцы просят бумагу, ее приносят им в номер. В доме более Шестидесяти постояльцев, и, следовательно, я не могу уследить за всеми, кто пишет на моей бумаге. Тогда они сказали, что арестуют меня; я ответила, что готова следовать за ними, но это им ничего не даст, потому что гражданин Сен-Жюст поручил им доставить в тюрьму вовсе не меня. Они признали, что мой довод справедлив, и ушли со словами: «Ладно, ладно, днем раньше, днем позже!..» Я сказала им: «Ищите!» – и вот теперь они ищут! Я пришла, чтобы предупредить вас: если вам предъявят обвинение, не говорите ни слова, начисто отрицайте, что писали записку.

– Если до этого дойдет, я решу, как мне быть, а пока большое спасибо, госпожа Тейч.

– Ах! Еще один, последний совет, милый человечек, когда мы наедине, зовите меня госпожа Тейч, это неплохо звучит, но при всех величайте меня гражданкой Тейч; я не говорю, что Соня способен на дурные поступки, но это ретивый человек, а когда дураки проявляют рвение, я всегда начеку.

Произнеся эту аксиому, которая свидетельствовала одновременно об осторожности и проницательности, г-жа Тейч поднялась, погасила свечу, горевшую на камине, поскольку тем временем уже совсем рассвело, и вышла из комнаты.

### III. ЕВЛОГИЙ ШНЕЙДЕР

Прежде чем Шарль покинул Безансон, он узнал от отца о привычках своего будущего наставника Евлогия Шнейдера. Мальчику было известно, что тот встает каждый день в шесть часов утра и работает до восьми, в восемь часов завтракает, выкуривает трубку, вновь принимается за работу и трудится до часа или двух часов дня, после чего уходит из дома.

Было примерно полвосьмого утра (в декабре в Страсбуре светает поздно, и день не спешит заглядывать в нижние этажи домов на его узких улочках), но мальчик счел неуместным снова ложиться в постель.

Учитывая, что ему потребуется полчаса на то, чтобы одеться и проделать путь от гостиницы «У фонаря» до дома уполномоченного правительства, он прибудет к нему как раз к завтраку.

Он заканчивал одеваться, облачаясь в свой самый элегантный костюм, когда вернулась г-жа Тейч.

– Господи Иисусе! – воскликнула она. – Вы что, собираетесь на свадьбу?

– Нет, я иду к господину Шнейдеру.

– В своем ли вы уме, милое дитя? Вы похожи на аристократа. Если бы вам было не тринадцать, а восемнадцать лет, вам бы отрубили голову за один лишь ваш вид. Ну-ка, долой этот шикарный наряд! Надевайте ваши дорожные вещи, ваш вчерашний костюм; это как раз сойдет для Кёльнского капуцина.

Гражданка Тейч в мгновение ока раздела и вновь одела своего юного постояльца, а он не сопротивлялся, придя в восхищение от ловкости своей хозяйки и слегка зардевшись от прикосновения пухлых ручек, белизна которых свидетельствовала о кокетстве их обладательницы.

– Ну вот! – сказала она. – Теперь ступайте к вашему учителю, да упаси вас Бог не говорить ему «ты» и не величать его гражданином: без этого, при всех ваших рекомендациях, с вами может случиться беда.

Шарль поблагодарил г-жу Тейч за добрые советы и спросил, нет ли у нее еще какого-нибудь напутствия для него.

– Нет, – покачала она головой, – нет, разве что возвращайтесь как можно быстрее, а я тем временем приготовлю для вас и вашего соседа из пятнадцатого номера завтрак, какого он еще не едал, хотя он из «бывших». Ну, а теперь ступайте!

Движимая восхитительным материнским чувством, что природа вдохнула в сердца всех женщин, г-жа Тейч прониклась нежностью к своему новому гостю и взялась руководить его действиями; он же, будучи совсем юным и чувствуя потребность в поддержке, которую дарует нежная женская любовь, облегчающая нам жизнь, был готов следовать ее советам, словно материнским наставлениям.

Так, он дал расцеловать себя и, выяснив, как пройти к дому гражданина Евлогия Шнейдера, покинул гостиницу «У фонаря», чтобы сделать в этом «большом мире», по выражению немцев, свой первый шаг, от которого порой зависит вся последующая жизнь.

Проходя мимо собора, он едва не лишился жизни, поскольку не смотрел по сторонам; голова скульптуры некоего святого рухнула к его ногам, а вслед за ней тотчас же упала статуя Богоматери с младенцем в руках.

Мальчик посмотрел в ту сторону, откуда прилетели два эти снаряда, и увидел над порталом великолепного здания мужчину, сидевшего на плечах огромной фигуры апостола: вооружившись молотом, он наносил урон рядам святых, двое из которых только что упали вниз к ногам мальчика.

Дюжина мужчин веселились от души, радуясь этому кошунству.

Шарль пересек площадь Брей, остановился на миг перед неказистым домом, затем поднялся по трем ступенькам крыльца и постучался в низкую дверь.

Старая служанка угрюмого вида открыла дверь и подвергла его допросу; когда он на все ответил, она с ворчанием провела его в столовую и сказала:

– Подожди здесь, гражданин Шнейдер сейчас будет завтракать, и ты поговоришь с ним, раз, как ты утверждаешь, тебе надо ему что-то сказать.

Оставшись в одиночестве, Шарль окинул мимолетным взглядом столовую: это была очень простая комната с дощатой обшивкой стен, все убранство ее сводилось к двум перекрещенным саблям на стене.

Но вот вслед за старухой в комнату вошел грозный докладчик революционной комиссии департамента Нижний Рейн.

Он прошел мимо мальчика, не замечая его или не показывая, что заметил, и, усевшись за стол, доблестно накинулся на горку устриц, соседствующую с блюдом анчоусов и миской, полной маслин.

Воспользуемся возникшей паузой, чтобы обрисовать в общих чертах внешний вид и характер странного человека, к которому попал Шарль.

Жан Жорж Шнейдер, который самолично дал себе или, если угодно, присвоил имя Евлогий, был уродливым, толстым, приземистым, ничем не примечательным мужчиной лет тридцати семи-тридцати восьми, с полными руками и ногами, покатыми плечами и круглым лицом. В его странной наружности прежде всего поражало то, что у него были волосы, стриженные ежиком, но в то же время он отпустил невероятно длинные и густые брови. Эти черные кустистые, заросшие брови нависали над хищными глазами, окаймленными рыжими ресницами.

Поначалу он был монахом – отсюда прозвище Кёльнский капуцин, которое приросло к нему так, что даже имя Евлогий не смогло его вытеснить. Он родился во Франконии, в семье бедных земледельцев, однако, благодаря многообещающим способностям, которые выказывал с детства, снискал покровительство деревенского священника, преподавшего ему азы латыни. Быстрые успехи позволили ему отправиться в Вюрцбург, пройти обучение в гимназии, которой заведовали иезуиты, и поступить по истечении трех лет в духовную академию. Вскоре он был изгнан оттуда за безнравственное поведение, впал в жесточайшую нужду и поступил во францисканский монастырь в Бамберге.

Когда он закончил учебу, его признали пригодным для преподавания древнееврейского языка и отправили в Аугсбург. Призванный в 1786 году ко двору герцога Карла Вюртембергского в качестве проповедника, он преуспел на этом поприще и регулярно жертвовал три четверти своего жалованья на помощь родным. Там же он вступил в общество иллюминатов, основанное неизвестным Вайсхауптом; отсюда проистекает тот энтузиазм, с которым он воспринял идеи Французской революции. В ту пору, полный честолюбивых замыслов, обуреваемый пылкими страстями и желанием сбросить иго монархии, он опубликовал столь вольнолюбивый катехизис, что был вынужден перебраться через Рейн и обосноваться в Страсбуре, где 27 июня 1791 года был назначен викарием епископства и деканом теологического факультета. После этого он не только не сложил с себя гражданских полномочий, не только присягнул Революции, но также в своих соборных проповедях со странным рвением смешивал оценки политических событий с религиозным учением.

Перед 10 августа он, все еще не признавая себя республиканцем, требовал отречения Людовика XVI. С этого момента он с испуганной дерзостью вступил в борьбу со сторонниками монархии, у которых имелись влиятельные союзники в Страсбуре и близлежащих провинциях. Благодаря этой борьбе он получил в конце 1792 года должность мэра Агно. Наконец, будучи назначен 19 февраля 1793 года общественным обвинителем при трибунале департамента Нижний Рейн, он был облечен 5 мая того же года званием комиссара при Революционном трибунале Страсбура. Тогда-то и обуяла Шнейдера ненасытная жажда крови, чему способство-

вала его природная жестокость. Развернув лихорадочную деятельность, этот общественный обвинитель, когда ему не хватало работы в Страсбург, рыскал по окрестностям в сопровождении грозной свиты – гильотины и палача.

По любому доносу он являлся в города и деревни, жители которых надеялись, что никогда не увидят это орудие смерти, производил расследование на месте, обвинял, выносил приговор и приводил его в исполнение, а посреди этой кровавой оргии восстанавливал нарицательный курс ассигнатов, потерявших восемьдесят пять процентов стоимости, и один снабжал армию, испытывавшую нужду во всем, большим количеством зерна, чем все комиссары округа, вместе взятые. Кроме того, с 5 ноября по 11 декабря, день приезда Шарля в Страсбург, он лишил жизни как в Страсбуре, так и в Мютсиге, Баре, Оберне, Эпфиге и Шлетале тридцать одну душу.

Хотя наш юный друг ничего не знал о большей части этих подробностей, в особенности о последней, он предстал перед грозным проконсулом не без весьма ощутимого трепета.

Однако, вспомнив, что тот, кто наводит ужас на других, призван стать его покровителем, мальчик тотчас вновь обрел спокойствие; поразмыслив немного, как завязать разговор, он усмотрел в устрицах, которых поглощал Шнейдер, повод для начала беседы.

– *Rara concha in terris* <sup>note 1</sup>, – промолвил он с улыбкой своим нежным голосом.

Евлогий повернулся в его сторону.

– Не хочешь ли ты случайно этим сказать, мальчуган, что я аристократ?

– Я ничего не хочу сказать, гражданин Шнейдер, но я знаю, что ты ученый, и, для того, чтобы ты обратил внимание на меня, бедного юнца, которого ты не соизволил заметить, я решил сказать несколько слов на знакомом тебе языке; в то же время это изречение одного из твоих любимых авторов.

– Право, неплохо сказано.

– Будучи рекомендованным Евлогию в гораздо большей степени, чем гражданину Шнейдеру, я должен стать таким оратором, чтобы оказаться достойным этой рекомендации.

– Кто же тебя послал? – спросил Евлогий, повернув стул таким образом, чтобы смотреть в лицо мальчику.

– Мой отец, вот его письмо.

Евлогий взял письмо и, узнав почерк, воскликнул:

– А-а! Это от старого друга!

Затем он прочел письмо от начала до конца.

– Твой отец, – продолжал он, – наверняка один из тех редких людей нашего времени, что пишут по-латыни безупречнейшим образом.

Протянув мальчику руку, он сказал:

– Хочешь позавтракать со мной?

Шарль окинул стол взглядом и невольной grimасой явно выдал свою неприязнь к столь роскошной и вместе с тем скудной трапезе.

– Ну да, я понимаю, – промолвил Шнейдер со смехом, – твоему юному желудку требуется нечто более существенное, чем анчоусы с маслинами. Приходи к обеду, я обедаю сегодня в тесном кругу, с тремя друзьями. Если бы твой отец был здесь, он стал бы четвертым, но ты его заменишь. Ну что, выпьем по стаканчику пива за здоровье твоего отца?

– О! С радостью! – воскликнул мальчик, хватая стакан и чокаясь с ученым.

Однако, поскольку это была огромная кружка, он смог опорожнить ее лишь до половины.

– Ну, что же ты? – спросил Шнейдер.

– Мы выпьем остаток немного погодя, в честь Республики, – ответил мальчик, – но эта кружка могла бы быть чуть-чуть поменьше, чтобы я мог осушить ее залпом.

Шнейдер посмотрел на него не без дружелюбного интереса.

– Право, ты очень мил, – сказал он.

В этот миг старая служанка принесла немецкие и французские газеты.

– Знаешь ли ты немецкий? – спросил Шнейдер.

– Ни слова.

– Не беда, тебя научат.

– В придачу к греческому?

– В придачу к греческому; так ты стремишься овладеть греческим?

– Я ни о чем другом не мечтаю.

– Попытаемся исполнить твое желание. Держи, вот французский «Монитёр», прочти его, пока я буду читать «Венскую газету».

На миг воцарилась тишина; оба наших героя погрузились в чтение.

– О-о! – вскричал Евлогий и прочел вслух: «В этот час Страсбург, должно быть, уже взят, и сейчас наши победоносные войска, вероятно, находятся на пути в Париж». Они не берут в расчет ни Пишегрю, ни Сен-Жюста, ни меня!

– «Передовые оборонительные сооружения Тулона в наших руках, – принялся читать Шарль в свою очередь, – не пройдет и трех-четырех дней, как мы овладеем всем городом и Республика будет отомщена».

– За какое число твой «Монитёр»? – спросил Евлогий.

– За восьмое, – ответил мальчик.

– О чем там еще говорится?

– «Шестого, во время заседания, Робеспьер зачитал ответ на манифест государств, вступивших в коалицию. Конвент приказал опубликовать этот ответ и перевести его на все языки».

– Что еще? – спросил Шнейдер. Мальчик продолжал читать:

– «Бийо-Варенн объявил седьмого, что мятежники Вандеи, попытавшись завладеть Анже, были разбиты и вытеснены местным гарнизоном, к которому присоединились жители города».

– Да здравствует Республика! – воскликнул Шнейдер.

– «Госпожа Дюбарри, приговоренная к смертной казни седьмого, была обезглавлена в тот же день вместе со своим любовником, банкиром ван Денивером. Эта старая шлюха совсем потеряла голову еще до того, как палач отрубил ее. Она рыдала, вырывалась и звала на помощь, но народ лишь улюлюкал в ответ, осыпая ее проклятиями. Он не забыл о казнокрадстве, процветавшем по ее вине и по милости ей подобных, а также о том, что именно эти злоупотребления привели к обнищанию государства».

– Бесстыдница!.. – вскричал Шнейдер. – Ей мало было обесчестить трон, она вдобавок обесчестила эшафот!

В эту минуту в комнату вошли два солдата, чьи мундиры, столь привычные для Шнейдера, невольно заставили Шарля содрогнуться.

В самом деле, было от чего испугаться: солдаты были одеты в черное и носили на кивере, под трехцветной кокардой, изображение двух перекрещенных костей; белые галуны на их черных, отороченных каракулем доломанах казались ребрами скелета, и, в довершение всего, на их ножах красовался голый череп над перекрещенными костями.

Они принадлежали к полку «гусаров смерти», в ряды которых принимали лишь тех, кто поклялся не брать врагов в плен, а уничтожать их на месте.

Дюжина солдат этого полка составляла охрану Шнейдера и служила ему гонцами.

Завидев их, Шнейдер поднялся с места.

– Теперь, – сказал он своему юному подопечному, – ты свободен, можешь оставаться или уходи; я же должен дать поручение своим курьерам. Смотри же, не забудь, что в два часа мы обедаем и ты обедаешь с нами.

И, слегка кивнув Шарлю на прощание, он удалился в кабинет вместе со своей мрачной свитой.

Предложение остаться было не настолько заманчивым, чтобы мальчик им воспользовался. Он встал, как только Шнейдер направился к выходу, и подождал, пока тот скрылся в своем кабинете, куда вошли следом двое его зловещих телохранителей, закрыв за собой дверь.

Тотчас же Шарль подхватил свой головной убор, бросился вон из комнаты, перепрыгнул через три ступеньки крыльца и, добежав до гостиницы, влетел на кухню славной г-жи Тейч с криком:

– Вот и я! Умираю с голоду!

## IV. ЭЖЕН ДЕ БОГАРНЕ

Услышав призыв своего малютки, как она величала Шарля, г-жа Тейч покинула небольшую столовую, выходящую во двор, и вошла на кухню.

– А! – воскликнула она, – вот и вы! Слава Богу! Бедный Мальчик с пальчик, стало быть, Людоед вас не растерзал?

– Напротив, он вел себя мило, и я не верю, что у него такие уж длинные зубы, как утверждают.

– Упаси вас Боже когда-нибудь испробовать их на себе! Однако, насколько я поняла, у вас самого зубки разгорелись. Идите сюда, а я сейчас позову вашего будущего друга: бедное дитя, по своей привычке, работает.

Гражданка Тейч пустилась вверх по лестнице с юной прытью, свидетельствующей о том, что ей некуда было девать свою неукротимую энергию.

Между тем Шарль наблюдал за приготовлениями к завтраку, одному из самых аппетитных, какие ему когда-либо подавали.

Скрип открывающейся двери оторвал его от этого занятия.

На пороге показался тот, о ком упоминала гражданка

Тейч.

Это был черноглазый подросток лет пятнадцати, с темными вьющимися волосами, ниспадавшими на плечи; его костюм отличался изяществом, а белье ослепляло своей белизной. Несмотря на усилия, приложенные для того, чтобы скрыть его происхождение, все в нем выдавало аристократа.

Он приблизился к Шарлю с улыбкой и протянул ему руку.

– Наша добрая хозяйка уверяет меня, гражданин, – промолвил он, – что мне выпало счастье провести в вашем обществе несколько дней. Также она сказала, что вы пообещали ей немножко любить меня; мне было очень приятно это слышать, ибо я чувствую, что буду любить вас очень сильно.

– Я тоже! – воскликнул Шарль. – Всей душой!

– Bravo! Bravo! – вскричала г-жа Тейч, входя на кухню, – теперь, когда вы обменялись приветствиями, словно господа, что довольно опасно по нынешним временам, обнимитесь, как два товарища.

– Охотно, – сказал Эжен.

Шарль бросился в его объятия. Мальчики обнялись с искренней сердечностью, свойственной юности.

– Послушайте! – продолжал старший из них, – я знаю, что вас зовут Шарль, меня же зовут Эжен, и я надеюсь, что, поскольку мы знаем друг друга по именам, нам не понадобятся такие обращения, как «господин» или «гражданин»; а также, что, раз закон велит нам называть друг друга на «ты», вы не сочтете слишком обременительным подчиниться ему; если дело лишь в том, чтобы подать вам пример, я не заставлю себя просить. Не хочешь ли сесть за стол, дорогой Шарль? Я умираю от голода, и я слышал от госпожи Тейч, что ты также не жаловался на аппетит.

– Каково! – промолвила г-жа Тейч. – До чего все это здорово сказано, малютка Шарль! Ах уж эти «бывшие», все же в них был толк!

– Не говори таких вещей, гражданка Тейч, – засмеялся Эжен, – столь славная гостиница, как твоя, должна давать приют лишь санкюлотам.

– Для этого пришлось бы забыть о том, что я имела честь принимать у себя вашего достойного отца, господин Эжен, а я этого не забываю: я молюсь за него день и ночь, Богу это известно.

– Вы можете одновременно молиться за мою мать, милая госпожа Тейч, – сказал юноша, утирая слезу, – ведь моя сестра Гортензия пишет, что наша матушка была арестована и отправлена в тюрьму – в монастырь кармелиток; я получил письмо сегодня утром.

– Мой бедный друг! – вскричал Шарль.

– Сколько же годочков вашей сестре? – спросила г-жа Тейч.

– Десять лет.

– Бедное дитя! Пусть ее скорее пришлют к вам, мы о ней позаботимся как следует, не может же она в таком возрасте оставаться одна в Париже.

– Спасибо госпожа Тейч, спасибо, но, к счастью, она не будет одна: она у моей бабушки, в нашем замке Ферте-Богарне. Ну вот, я заставил всех загрузить, а ведь я поклялся ни с кем не делиться своей новой бедой.

– Господин Эжен, – сказал Шарль, – с такими намерениями не заводят друзей. Что ж, в наказание вы будете говорить за завтраком лишь об отце, матери и сестре.

Мальчики уселись за стол, а г-жа Тейч осталась, чтобы им прислуживать. Задача, поставленная перед Эженом, была ему не в тягость; он поведал своему юному другу, что является последним отпрыском благородного рода из Орлеана, а также о том, что один из его предков, Гийом де Богарне, в 1398 году женился на Маргарите де Бурж, а другой, Жан де Богарне, был свидетелем на суде над Орлеанской Девой; в 1764 году их поместье ла Ферте-Орен получило статус маркизата и стало называться ла Ферте-Богарне; его дядя Франсуа, эмигрировавший в 1790 году, стал майором в армии принца де Конде и предложил себя председателю Конвента для защиты короля в суде. Что касается его отца, который в настоящее время арестован и обвиняется в сговоре с врагом, то он родился на острове Мартиника и там же сочетался браком с мадемуазель Таше де ла Пажери, а затем приехал с ней во Францию, где был благосклонно принят при дворе; направленный в Генеральные штаты знатно сенешальства Блуа, он одним из первых в ночь 4 августа поддержал отмену всех титулов и привилегий.

Избранный секретарем Национального собрания и членом комитета по военным делам, он во время подготовки к празднику Федерации принимал деятельное участие в благоустройстве Марсова поля и вдвоем с аббатом Сиейесом возил землю в тележке. Наконец он был отправлен в Северную армию в качестве генерал-адъютанта, командовал войсками в Суассоне, отказался возглавить военное министерство и принял роковое назначение командующим Рейнской армией; всем известно, что за этим последовало.

Когда речь зашла о доброте, изяществе и красоте его матери, юноша стал особенно красноречив и дал волю своей беспредельной сыновней любви; теперь, когда ему следовало работать не только ради маркиза де Богарне, но и ради своей милой матушки Жозефины, он собирався трудиться с куда большим рвением, чем прежде.

Шарль, также питавший к родителям самую нежную любовь, зачарованно слушал своего юного товарища, без устали осыпая его вопросами о матери и сестре.

Внезапно послышались приглушенные раскаты взрыва, от которого задрожали все оконные стекла гостиницы «У фонаря», а за ним последовали другие взрывы.

– Это пушка! Пушка! – вскричал Эжен, более привычный, чем его юный друг, к звукам войны.

Вскочив со стула, он воскликнул:

– Вставайте! Вставайте! Началось наступление на город!

В самом деле, с разных сторон доносился грохот барабанов, бивших общий сбор.

Мальчики бросились к двери вслед за г-жой Тейч. В городе уже царил суматоха: во все стороны скакали кавалеристы в разноцветных мундирах, очевидно доставлявшие приказы, а простолюдины, вооруженные копьями, саблями и пистолетами, бежали толпой к Агноским воротам с криком:

– Патриоты, к оружию! Враг наступает!

Приглушенный грохот пушечных выстрелов, возобновляющийся каждую минуту, красноречивее, чем голоса людей, извещал об опасности и призывал граждан города к его защите.

– Пойдем на крепостной вал, – сказал Эжен, бросаясь на улицу, – если даже нам не придется сражаться, мы, по крайней мере, увидим битву.

Шарль устремился за своим товарищем, который ориентировался в городе лучше, чем он, и вел его к Агноским воротам самым коротким путем.

Пробегая мимо оружейной лавки, Эжен резко остановился.

– Постой, – сказал он, – мне пришла в голову одна мысль!

Он вошел в лавку и спросил у хозяина:

– У вас найдется хороший карабин?

– Да, – ответил тот, – но он дорого стоит!

– Сколько?

– Двести ливров.

Юноша достал из кармана пачку ассигнатов и бросил ее на прилавок.

– У вас есть пули соответствующего калибра и порох?

– Да.

– Давайте.

Торговец оружием выбрал для него примерно двадцать пуль, входивших в ружье с усилием, лишь при помощи шомпола, отвесил фунт пороху и высыпал его в пороховницу, в то время как Эжен отсчитывал ему двести ливров ассигнатами, а затем – еще шесть ливров за порох и пули.

– Ты умеешь обращаться с ружьем? – спросил Эжен у Шарля.

– Увы! Нет, – смущенно ответил тот, устыдившись своей беспомощности.

– Не беда, – со смехом отозвался Эжен, – я буду драться за двоих.

И он снова устремился к опасному месту, заряжая на ходу ружье.

Город являл собой любопытное зрелище: каждый его житель, независимо от своих убеждений, можно сказать, ринулся навстречу врагу; из каждой двери выскакивали вооруженные мужчины; в ответ на магический возглас «Враги! Враги!» защитники вырастали словно из-под земли.

На подступах к воротам толпа была такой густой, что Эжен понял: чтобы добраться до крепостной стены, следовало сделать крюк; он бросился вправо и вскоре оказался вместе со своим юным другом в той части крепостного вала, которая выходила в сторону Шильтигема.

В этом месте собралось множество патриотов, стрелявших по врагу.

Эжен не без труда протиснулся в первый ряд защитников города; Шарль не отставал от него ни на шаг.

На дороге и равнине, ставшими полем битвы, царил чудовищная неразбериха. Французы и австрийцы сражались, перемешавшись между собой, с яростью, не поддающейся описанию. Неприятель, преследовавший французский отряд, который, казалось, был охвачен таким паническим ужасом, что древние несомненно приписали бы его гневу богов, едва не ворвался в город вместе с беглецами; ворота, закрывшиеся вовремя, оставили часть наших снаружи, и те, оказавшись в траншеях, принялись неистово отбиваться от наступавших, в то время как с вершины крепостной стены грохотала пушка и гремели выстрелы.

– Ах! – воскликнул Эжен, радостно потрясая карабином, – я был уверен, что битва – это прекрасное зрелище!

В тот миг, когда он произносил эти слова, пуля, просвистевшая между ним и Шарлем, срезала прядь его волос, пробила его шляпу и поразила одного из находившихся позади него патриотов, который упал замертво.

Поток воздуха от пролетевшей пули хлестнул мальчигов по лицу.

– О! Я знаю, кто стрелял, я его видел, видел! – вскричал Шарль.

- Кто же это? Кто? – вопрошал Эжен.
- Смотри, вон тот, что сейчас вытаскивает патрон, собираясь перезарядить карабин.
- Постой! Постой! Ты уверен, не так ли?
- Ей-Богу!
- Ну, тогда смотри!

Юноша выстрелил, и драгун подскочил в седле, а его лошадь отпрянула в сторону: очевидно, произвольным движением он вонзил шпоры в бока скакуна.

- Попал! Попал! – воскликнул Эжен.

В самом деле, драгун пытался прицепить свое ружье за порт-мушкетон, но его усилия были тщетны, и вскоре он выронил оружие; приложив одну руку к боку и стараясь направлять коня другой рукой, он стремился выбраться из гущи боя, но через несколько мгновений качнулся назад и, вылетев из седла, упал головой вниз.

Одна нога драгуна зацепилась за стремя; испуганная лошадь понеслась, увлекая его за собой. Какой-то миг юноши смотрели ей вслед, но вскоре конь и всадник скрылись в дыму сражения.

Тут ворота распахнулись: гарнизон вышел из города под бой барабанов и звуки труб и ринулся в штыковую атаку.

Это был последний шаг, на который решились патриоты, но враг не стал дожидаться их приближения. Горнисты протрубили сигнал к отступлению, и кавалерия, разметавшись по равнине, сосредоточилась на главной дороге и понеслась в сторону Кильстета и Гамбельхайма.

Пушка снова нацелилась в это живое месиво, но благодаря скорости своего передвижения кавалерия вскоре оказалась вне пределов досягаемости.

Оба мальчика вернулись в город, преисполненные гордости. Шарль гордился тем, что видел сражение, а Эжен – тем, что принимал в нем участие. Шарль заставил Эжена поклясться, что тот научит его обращаться с ружьем, которым он так ловко владел.

Только после сражения стало известно, чем была вызвана тревога.

Пишегрю поручил генералу Лизембергу, немецкому рубакае, прошедшему хорошую школу у старого Люкнера, тому самому Лизембергу, который не без успеха вел партизанскую войну, оборонять передовой пост Бишвиллер; то ли по легкомыслию, то ли в пику постановлениям Сен-Жюста, вместо того чтобы проявлять повышенную бдительность согласно советам народных представителей, он позволил неприятелю застать войска врасплох на месте стоянки, был застигнут там и, удирая со штабом во весь опор, с трудом спасся.

Приблизившись к стенам города, он почувствовал себя увереннее и повернулся лицом к врагу, но было уже поздно: весь город был поднят по тревоге, и каждый понимал, что бедняге лучше было бы угодить в плен или дать себя убить, нежели искать убежища в городе, где распоряжался Сен-Жюст.

И правда, как только генерал оказался за земляным валом, он и весь его штаб были арестованы по приказу народного представителя.

Вернувшись в гостиницу «У фонаря», двое юных друзей застали бедную г-жу Тейч в величайшей тревоге: прожив месяц в Страсбург, Эжен приобрел здесь некоторую известность, и ей передали, что кто-то видел, как мальчик бежал с ружьем в сторону Агноских ворот. Сначала она не хотела этому верить, но, когда он вернулся, все еще не выпуская из рук оружия, ее задним числом обуял ужас, который возрос после рассказа Шарля (он был охвачен восторгом, как всякий новобранец, впервые наблюдавший сражение), а также от вида шляпы, пробитой пулей.

Но при всем своем восторге Шарль не забыл, что в два часа должен обедать у гражданина Евлогия Шнейдера.

Без пяти два мальчик, поднявшись по ступенькам крыльца уже не стремглав, как спускался по ним утром, постучал в низкую дверь, к которой они вели.

## V. МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ БРЁН

Как только прозвучал первый залп пушки, общество «Пропаганда» собрало своих членов и заявило, что не разойдется до тех пор, пока Страсбуру будет грозить опасность.

Каким бы истым якобинцем ни был Евлогий Шнейдер, являвшийся по отношению к Марату тем же, чем был Марат по отношению к Робеспьеру, «Пропаганда» превзошла его в патриотизме.

Из этого следует, что, хотя он и был общественным обвинителем и чрезвычайным комиссаром Республики, ему приходилось считаться с двумя силами, между которыми он был вынужден лавировать.

Этими силами были Сен-Жюст, который, как ни странно прозвучит для современного читателя сей бесспорный факт, представлял умеренную часть республиканской партии, и общество «Пропаганда», представлявшее крайне левую часть якобинцев.

Сен-Жюст обладал реальной властью, а вождь «Пропаганды» гражданин Тетрель – моральным авторитетом.

Поэтому Евлогий Шнейдер не считал возможным уклониться от присутствия на заседании «Пропаганды», где обсуждались способы спасения отечества, в то время как Сен-Жюст и Леба, отличавшиеся от всех своими костюмами народных представителей и трехцветными плюмажами, первыми покинули Страсбург и ринулись в гущу боя во главе республиканцев, приказав закрыть за собой ворота.

Как только враг был обращен в бегство, они вернулись в город и направились в ратушу, которая служила им домом; между тем члены общества «Пропаганда» продолжали заседать, несмотря на то что опасность миновала.

Это обстоятельство явилось причиной того, что Евлогий Шнейдер, столь настоятельно просивший других прийти к обеду в точно назначенное время, сам опоздал на полчаса.

Шарль воспользовался этой задержкой, чтобы познакомиться с тремя гостями, с которыми ему предстояло сесть за один стол.

Они же, предупрежденные Шнейдером, благосклонно встретили этого мальчика, присланного к ним для того, чтобы они сделали из него ученого, и каждый из них тотчас же решил заняться его образованием согласно со своими знаниями и принципами.

Как уже было сказано, мужчин было трое. Их звали Эдельман, Юнг и Монне. Эдельман был выдающимся музыкантом, церковные песнопения которого не уступали самому Госсеку. Кроме того, он написал для театра партитуру оперы по мотивам поэмы «Ариадна на острове Наксос» (она ставилась во Франции, если мне не изменяет память, примерно в 1818-1820 годах). Это был человек небольшого роста, с угрюмым лицом, в очках, казалось приросших к его носу, во фраке каштанового цвета, неизменно застегнутом сверху донизу на медные пуговицы. Он устремился в ряды революционеров с безрассудством и неистовством, присущими фантазерам. Когда его друг Дитрих, мэр Страсбург, обвиненный Шнейдером в умеренности, потерпел поражение в разгоревшейся борьбе, Эдельман выступил против него на суде со словами:

– Я буду тебя оплакивать, ибо ты мой друг, но ты должен умереть, ибо ты предатель.

Что касается второго гостя, Юнга, то это был бедный сапожник; под грубой наружностью его, по ошибке или капризу природы, как это нередко случается, таилась душа поэта. Он владел латынью и греческим, но сочинял свои оды и сатиры только на немецком; его поэзия стала популярной благодаря общеизвестным республиканским взглядам автора. Зачастую простые люди не давали ему прохода на улице, требуя: «Стихи, Юнг! Читай стихи!» В таких случаях он останавливался, взбирался на каменную тумбу, край колодца или первый попавшийся балкон, если таковой оказывался поблизости, и принимался извергать в небо свои стихи и оды,

подобные шипящим ракетам, объятые огнем. Это был один из тех редких и честных людей, один из тех пламенных борцов, слепо преданных величию народной идеи, что ждали от революции лишь освобождения человеческого рода, и умирали, как древние мученики, без жалоб и сожалений, веря в грядущее торжество своего учения.

Третий гость, Монне, отнюдь не был незнаком Шарлю, и, завидев его, мальчик издал радостный возглас. Это был отставной солдат, служивший в ранней юности в гренадерском полку; покинув военную службу, он сделался священником и стал префектом коллежа в Безансоне, где и познакомился с ним Шарль. Двадцативосьмилетний Монне был в том возрасте, когда человека обуевают страсти; он сожалел о преждевременно данном обете безбрачия, но начавшаяся революция освободила его от этого обязательства. Монне был высокий, немного сутулый человек, преисполненный обходительности, учтивости и тихой прелестной грусти, с первого взгляда располагавшей к нему людей; у него была печальная улыбка, в которой временами сквозила горечь. Можно было подумать, что в глубине души он прячет какую-то мучительную тайну и просит у людей или, вернее, у всего человечества защиты от собственной наивности, самой грозной из всех опасностей в подобное время. В новых обстоятельствах он тотчас же устремился или, скорее, угодил в ряды сторонников крайних мер, к числу которых принадлежал Шнейдер; теперь же, будучи в ужасе от своего союза с фанатиками и соучастия в преступлениях, он брел с закрытыми глазами в неведомом ему направлении.

Эти трое были друзьями и неразлучными спутниками Шнейдера. Они уже начинали беспокоиться из-за того, что он задержался, ибо каждый из них чувствовал, что Шнейдер является для них крепкой опорой: если он пошатнется – они упадут, если он упадет – они погибнут.

Монне, самый нервный и, следовательно, самый нетерпеливый, уже собирался отправиться на поиски задержавшегося, как вдруг все услышали поскрипывание ключа в замочной скважине, а затем дверь с шумом распахнулась.

В тот же миг на пороге появился Шнейдер.

Как видно, заседание было бурным: на пепельного цвета лице гражданина обвинителя проступили красные пятна; хотя дело было в середине декабря, по его лбу струился пот, и раскрытый ворот позволял видеть, как сильно вздулись жилы на его бычьей шее.

Войдя, Шнейдер швырнул на другой конец комнаты шляпу, которую он держал в руке.

Завидев его, трое мужчин подскочили как на пружинах и сделали шаг ему навстречу; Шарль же, напротив, притаился за спинкой своего стула как за баррикадой.

– Граждане, – сказал Шнейдер, скрежеща зубами, – граждане, я принес вам хорошее известие; оно, если не обрадует вас, то, по крайней мере, удивит. Через неделю я женюсь.

– Ты? – вскричали в один голос трое мужчин.

– Да. Не правда ли, все в Страсбуре будут страшно удивлены, когда эта новость разнесется по городу: «Вы не слышали?» – «Нет, а что?» – «Кёльнский капуцин женится!» – «Неужели?» – «Точно!» Ты, Юнг, напишешь свадебную песню, Эдельман положит ее на музыку, а Монне, столь же веселый, как катафалк, исполнит. Надо будет сообщить об этом с ближайшей почтой твоему отцу, Шарль!

– На ком же ты женишься?

– Право, я пока не решил, да и мне все равно; я хочу жениться на своей старой кухарке, чтобы подать достойный пример слияния классов.

– Да что же с тобой стряслось? Рассказывай.

– О! Почти ничего, если не считать того, что меня допрашивали, на меня нападали, меня обвиняли, да, да, обвиняли!

– Где же?

– В «Пропаганде».

– О! – воскликнул Монне. – В обществе, что ты создал!

– Разве ты не знаешь, что порой встречаются дети, которые убивают своих отцов?

– Но кто же на тебя нападал?

– Тетрель. Поглядите-ка на этого демократа, придумавшего великолепное движение санкюлотов, в его распоряжении версальские ружья, пистолеты, украшенные королевскими лилиями, свора приспешников, словно у кого-то из «бывших», и табуны лошадей, как у принца! Именно он, неведомо почему, стал кумиром страсбургской черни. Может быть, потому, что он сверкает позолотой, как тамбурмажор, и такого же роста. Между тем мне показалось, что я представил достаточно гарантий; так нет же, форма полномочного обвинителя не заставила позабыть ни о рясе капуцина, ни о сутане каноника. Он заявил мне в лицо, что сан священника покрыл меня позором и, по его словам, неотвратимо внушает подозрение ко мне подлинным друзьям свободы. Кто же принес ему больше жертв, чем я, во имя святой свободы? Кто, как не я, меньше чем за месяц бросил к его ногам двадцать шесть голов? Сколько же им еще надо, если и этого недостаточно?

– Успокойся, Шнейдер, успокойся!

– В самом деле, – продолжал Шнейдер, горячася все сильнее, – от этого можно сойти с ума! Я оказался между «Пропагандой», которая твердит мне: «Мало!», и Сен-Жюстом, который твердит: «Слишком много!» Вчера я приказал арестовать еще шестерых собак-аристократов, сегодня – четверых. Мои «гусары смерти» день и ночь рыскают по Страсбуру и его окрестностям; сегодня вечером я должен взять под стражу одного эмигранта: он посмел перебраться через Рейн в лодке контрабандистов и явиться в Пlobsем, чтобы вместе со своей семьей плести там заговор. Уж он-то, например, не сомневается в своей правоте. Ах! Теперь я понимаю одно, – продолжал он, угрожающе вытягивая руку, – события гораздо сильнее нашей воли, и если некоторые люди, подобно боевым колесницам из Священного писания, сметают на своем пути целые народы, то это значит, что их направляет та самая неведомая роковая сила, которая пробуждает вулканы и низвергает вниз водопады.

Произнеся эту тираду, не лишённую некоторого красноречия, он внезапно разразился нервным смехом:

– Ба! Нет ничего до рождения, и нет ничего после смерти; жизнь всего лишь кошмар наяву; так стоит ли придавать ему значение, пока он длится, и сожалеть о нем, когда он кончается? Нет, клянусь честью! Давайте лучше обедать; valeat res ludicra <sup>note 2</sup>, не так ли, Шарль?

И, направившись первым, он распахнул перед друзьями дверь столовой, где уже был накрыт великолепный обед.

– Скажи же, наконец, – сказал Юнг, усаживаясь вместе с другими за стол, – каким образом из этого следует, что ты женишься через неделю?

– Ах, правда, я забыл поведать вам о самом чудесном! Вы думаете, что окрестив меня капуцином из Кёльна, где я никогда не был капуцином, и каноником из Аугсбурга, где я никогда не был каноником, они не попрекают меня при этом оргиями и развратом?! Меня – оргиями, представьте себе! На протяжении тридцати четырех лет моей жизни я пил только воду и питался одной морковью; если теперь я тоже ем белый хлеб и жую мясо, – это наименьший из моих грехов. Меня – развратом! Если они считают, что я отказался от духовного сана, чтобы жить как святой Антоний, то ошибаются. Что ж, есть простой способ положить этому конец – жениться. Я стану, подобно другим, преданным супругом и добропорядочным отцом семейства, черт побери! Если только гражданин Сен-Жюст даст на это время.

– Но ты хотя бы выбрал, – спросил Эдельман, – ту счастливую невесту, которую удостоишь чести разделить с тобой ложе?

– Пустяки! – ответил Шнейдер. – Лишь бы была женщина, а об остальном позаботится дьявол.

– За здоровье будущей супруги Шнейдера! – воскликнул Юнг, – и, раз он взял в поверенные дьявола, пусть дьявол пошлет ему, по крайней мере, богатую, молодую и красивую женщину.

– Да здравствует жена Шнейдера! – вздохнул Монне. В эту минуту дверь распахнулась и на пороге столовой показалась старая кухарка.

– Там, – сказала она, – пришла какая-то гражданка, она просит разрешения поговорить с гражданином Евлогием по срочному делу.

– Полно! – отрезал Евлогий, – сейчас у меня только одно неотложное дело – закончить начатый обед; пусть она придет завтра!

Старуха удалилась, но почти тотчас же дверь снова открылась.

– Она говорит, что завтра будет слишком поздно.

– Где же она была раньше в таком случае?

– Раньше я не могла, гражданин, – послышался из прихожей нежный голос, в котором звучала мольба, – позволь мне тебя увидеть, позволь мне поговорить с тобой, умоляю!

Евлогий нетерпеливо махнул старухе рукой, приказывая закрыть дверь и подойти ближе, но тотчас же подумал о том, как свеж и юн этот голос, и спросил у старухи с улыбкой сатира:

– Она молода?

– Ей, должно быть, лет восемнадцать, – ответила кухарка.

– Красива?

– Чертовски красива! Трое мужчин рассмеялись.

– Ты слышишь, Шнейдер, чертовски красива!

– Ну, – сказал Юнг, – теперь остается лишь убедиться в том, что она богата, и вот тебе невеста; открывай, старуха, да поживее; красивое дитя, как видно, тебе знакомо: ее прислал сюда сам дьявол.

– Почему же не Бог? – спросил Шарль столь ангельским голосом, что трое мужчин вздрогнули.

– Потому что наш друг Шнейдер не в ладах с Богом и, напротив, в прекрасных отношениях с дьяволом; я не вижу другой причины. И потом, – прибавил Юнг, – только дьявол так быстро удовлетворяет адресованные ему просьбы.

– Ладно, – сказал Шнейдер, – пусть войдет! Старуха открыла дверь, и в дверном проеме тотчас же показался изящный силуэт девушки в дорожном костюме; она была укутана в черную атласную накидку, подбитую розовой тафтой.

Девушка вошла в столовую и остановилась подле свечей, напротив четверых сотрапезников, которые, глядя на нее, не удержались от приглушенных возгласов восхищения.

– Граждане, – промолвила девушка, – кто из вас гражданин комиссар Республики?

– Я, гражданка, – откликнулся Шнейдер, продолжая сидеть.

– Гражданин, – сказала она, – я должна попросить тебя об одной милости, от которой зависит моя жизнь.

И тут она с тревогой оглядела всех гостей.

– Пусть тебя не смущает присутствие моих друзей, – сказал Шнейдер, – эти друзья и по своим наклонностям, и, можно сказать, по общественному положению, являются ценителями красоты. Вот мой друг Эдельман – он музыкант.

Девушка кивнула, как бы говоря: «Его музыка мне знакома».

– Вот мой друг Юнг – он поэт, – продолжал Шнейдер.

Девушка снова кивнула, как бы говоря: «Я знаю его стихи».

– И вот, наконец, мой друг Монне – он не поэт и не музыкант, но у него есть глаза и сердце, и я вижу по его глазам, что он всерьез настроен взять вас под защиту. Что касается моего юного друга, он еще только школяр, как сами видите, но уже достаточно сведущ, чтобы проспрягать глагол «любить» на трех языках. Итак, вы можете объясниться в их присутствии, если только то, что вы должны мне сказать, не столь интимная вещь, что требует разговора с глазу на глаз.

С этими словами он поднялся со стула и протянул руку к девушке, указывая ей на приоткрытую дверь, которая вела в пустую приемную.

Девушка встрепенулась:

– Нет, сударь, нет. Шнейдер нахмурился.

– Прошу прощения, гражданин... Нет, гражданин, то, что мне нужно сказать тебе, не боится ни света, ни огласки.

Шнейдер опустил на место, жестом приглашая девушку присесть.

Но она покачала головой и сказала:

– Просителям полагается стоять.

– В таком случае, – продолжал Шнейдер, – будем действовать согласно порядку. Я рассказал тебе, кто мы такие; теперь скажи нам, кто ты?

– Меня зовут Клотильда Брэн.

– Ты хочешь сказать: де Брэн?

– Было бы несправедливо ставить мне в упрек преступление, которое произошло за триста-четырееста лет до моего рождения и в котором я неповинна.

– Тебе не нужно больше ничего мне рассказывать – мне известна твоя история, и я знаю, зачем ты сюда пришла.

Девушка преклонила колени, склонила голову и умоляюще простерла к Шнейдеру сложенные руки; от этого движения капюшон накидки упал ей на плечи, являя взору небывалую красоту гостыи: длинные белокурые локоны очаровательнейшего оттенка, разделенные ровным пробором и падавшие на ее плечи, окаймляли лицо безупречной формы; черные глаза, брови и ресницы оттеняли ее матово-белый лоб, делая его еще более ослепительным; прямой нос с подвижными ноздрями слегка подрагивал, как и щеки, на которых запечатлелись следы обильно пролитых слез; ее приоткрытые в немой мольбе губы казались вылепленными из красного коралла и позволяли видеть в тени белые, как жемчуг, зубы; наконец, ее белоснежная, атласно-бархатистая шея была полузакрыта черным платьем с высоким воротом; но даже под складками одежды угадывались прелестные выпуклости ее фигуры.

Она была поистине великолепна.

– Да, – промолвил Шнейдер, – ты прекрасна, как никто другой, ты наделена красотой проклятых родов, а также обольстительной прелестью; однако мы не азиаты и не позволим всяческим Еленам и Роксоланам соблазнить себя: твой отец готовил заговор, твой отец виновен, твой отец умрет.

Девушка вскрикнула, как будто эти слова пронзили ее сердце кинжалом.

– О нет! – воскликнула она, – нет, мой отец не заговорщик!

– Если он не готовил заговор, зачем же он эмигрировал?

– Он эмигрировал, потому что, будучи на стороне принца де Конде, счел долгом последовать за ним в изгнание; однако, будучи столь же преданным заветам Божьим, как и верным слугой родины, он не захотел сражаться против Франции и за те два года, что находился в изгнании, ни разу не вынул шпаги из ножен.

– Что же ему понадобилось во Франции и зачем он переправился через Рейн?

– Увы! Ты можешь судить об этом по моему трауру, гражданин комиссар. Моя мать умерла на другом берегу реки, всего лишь в четырех льё от мужа; человек, в чьих объятиях она провела двадцать счастливых лет, с волнением ждал весточки, что вернула бы ему надежду. Однако в каждом послании говорилось: «Хуже! Хуже! Еще хуже!» Позавчера он не выдержал, переоделся крестьянином и переправился через реку на лодке; обещанная награда, несомненно, прельстила бедного лодочника, да простит его Бог! Он выдал моего отца, и сегодня ночью отец был арестован. Спроси у своих агентов, когда это произошло. Сразу же после того, как моя мать скончалась. Спроси их, что он делал в тот час. Отец плакал, закрывая ей глаза. Ах! Разве не достоин прощения муж, который возвращается из изгнания, чтобы проводить в

последний путь мать своих детей?! Боже мой! Ты скажешь, что закон не знает снисхождения и что всякий эмигрант, возвращающийся на французскую землю, заслуживает смертной казни? Да, это так, если он возвращается на родину с тайным умыслом в сердце или оружием в руках, чтобы готовить заговор или воевать; но нет, если он возвращается без оружия в руках, чтобы преклонить колено у смертного одра.

– Гражданка Брэн, – сказал Шнейдер, качая головой, – закон не вдается в подобные сентиментальные тонкости. Он гласит: «В таком-то случае, при таких-то обстоятельствах, по такой-то причине последует смертная казнь». Человек, который, зная закон, совершает деяние, караемое законом, виновен; а если он виновен, то должен умереть.

– О нет, не должен! Его судят люди, разве у них нет сердца?

– Сердце! – вскричал Шнейдер, – неужели ты полагаешь, что человек всегда волен распорядиться своим сердцем? Видно, что ты не слышала, в чем обвиняли меня сегодня в обществе «Пропаганда»! Именно в том, что я слишком мягкосердечен по отношению к людским мольбам. Не считаешь ли ты, что на моем месте было бы легче и приятнее, видя такое прекрасное создание, как ты, у своих ног, поднять его с колен и осушить его слезы, нежели резко бросить: «Все напрасно, вы впустую теряете время!»? Нет, к несчастью, закон не дремлет, и исполнители закона должны быть столь же непреклонными, как и он. Закон не женщина, закон – это бронзовая статуя, которая держит в одной руке меч, а в другой – весы; этим весам ведомы лишь обвинение на одной чаше и истина на другой; и ничто не отведет лезвие этого меча с предначертанного ему страшного пути. На этом пути ему встретились головы короля, королевы и принца, и все они пали, подобно голове безвестного нищего, схваченного на опушке леса после убийства или поджога. Завтра я отбываю в Плобсем; палач и эшафот последуют за мной; если твой отец не эмигрировал, если он не переправлялся через Рейн тайком, если, наконец, его обвиняют несправедливо, твоего отца выпустят на свободу, но, если обвинение, которое подтверждают твои уста, верно, послезавтра его голова упадет на городской площади Плобсема.

Девушка приподняла голову и, собравшись духом, спросила:

– Значит, ты не оставляешь мне никакой надежды?

– Никакой!

– Тогда разреши сказать тебе последнее слово, – сказала она, вставая во весь рост.

– Говори.

– Нет, тебе одному.

– Ну что ж, пойдем.

Девушка решительно направилась в приемную и вошла туда первой без малейших колебаний.

Шнейдер последовал за ней и запер дверь.

Как только они оказались наедине, он потянулся к ней, собираясь обнять ее за талию, но девушка просто и с достоинством отвела его руку.

– Чтобы ты простил мне последнюю попытку, которую я решила предпринять, гражданин Шнейдер, – сказала она, – тебе следует учесть, что я надеялась воздействовать на твое сердце всяческими благовидными средствами, но ты их отверг; тебе следует также учесть, что я в отчаянии и, желая спасти жизнь моего отца, не сумев поколебать тебя, считаю своим долгом сказать тебе: слезы и мольбы оказались бессильными... значит, деньги...

Шнейдер пренебрежительно повел плечами, и его губы шевельнулись, но девушка не дала ему себя прервать.

– Я богата, – продолжала она, – моя мать умерла, и я унаследовала огромное состояние, которое принадлежит мне, только мне, гражданин Шнейдер: в моем распоряжении два миллиона; если бы у меня было четыре миллиона, я бы их тебе предложила, но у меня только два; согласен ли ты на них? Возьми эти деньги и спаси моего отца.

Шнейдер положил руку на плечо девушки, и его взгляд сделался задумчивым; густые брови комиссара почти полностью заслоняли его глаза от ее пылающего и пытливого взора.

– Завтра, – промолвил он, – я отправлюсь в Плюбсем, как уже доложил тебе; ты только что сделала мне предложение, я же сделаю тебе там другое.

– Как? – вскричала девушка.

– Я говорю, что, если ты захочешь, все может уладиться.

– Если это предложение хоть в чем-то запятнает мою честь, бесполезно его делать.

– Нет, ни в чем.

– В таком случае ты будешь желанным гостем в Плюбсеме.

Попрощавшись с ним еще без надежды, но уже без слез, она отворила дверь, прошла через столовую и, слегка поклонившись гостям, удалилась.

Впрочем, ни трое мужчин, ни мальчик не смогли как следует разглядеть лица Клотильды, полностью скрытого капюшоном ее накидки.

Комиссар Республики глядел девушке вслед; он смотрел на дверь столовой до тех пор, пока она не закрылась, и вслушивался в стук колес уезжающей кареты, пока он не затих. Затем он подошел к столу и вылил в стаканы гостей и в свой стакан целую бутылку либерффраумильха со словами:

– Выпьем это благородное вино за здоровье гражданки Клотильды Брэн, невесты Жана Жоржа Евлогия Шнейдера.

Он поднял свой стакан, и четверо гостей последовали его примеру, сочтя излишним просить у него объяснений, которых, скорее всего, он бы им не дал.

## VI. МЕТР НИКОЛА

Эта сцена произвела на гостей большое впечатление, и каждый ощутил ее воздействие в меру своей впечатлительности, но больше всех она взволновала нашего школяра; он, разумеется, уже видел много женщин, но впервые перед ним предстала такая женщина. Мадемуазель де Брэн, как мы уже говорили, была наделена изумительной красотой, и эта красота явилась юноше при обстоятельствах, сделавших ее еще более неотразимой.

Поэтому он испытал странное потрясение, почувствовал нечто вроде болезненного укола в сердце, когда после ухода девушки Шнейдер объявил, подняв свой бокал, что мадемуазель де Брэн его невеста и вскоре станет женой.

Что же произошло в приемной? Слыша уверенный тон хозяина, Шарль даже не усомнился в том, что девушка дала согласие. С помощью каких убедительных доводов Шнейдер сумел добиться от нее столь быстрого согласия?

Значит, она попросила у него эту мимолетную аудиенцию, чтобы принести себя в жертву?

О! В таком случае лишь безграничная самоотверженность дочерней любви могла побудить эту чистую лилию, эту благоуханную розу связать свою жизнь с таким колючим остролистом, с таким грубым чертополохом. Шарлю казалось, что если бы он был отцом этого божественного создания, то предпочел бы сто раз умереть, нежели спасти свою жизнь ценой счастья дочери.

Он не только впервые восхищался женской красотой, но также впервые оценивал глубину пропасти, которой уродство может разделить двух людей разного пола.

Уродство Евлогия, которому Шарль раньше не придавал значения, было наиболее отвратительным: его ничем нельзя было заглушить, ибо оно усугублялось нравственной мерзостью, зловонной мерзостью, присущей монашеским лицам, на которых с юных лет лежит печать лицемерия.

Казалось, что Шарль, погруженный в свои раздумья и мысленно находившийся там, куда скрылась девушка, в силу того же притяжения, которое заставляет гелиотропы поворачиваться в сторону солнечного захода, с открытым ртом и раздувающимися ноздрями вбирал в себя благовонные атомы, что она оставила на своем пути.

Нервные струны юности затрепетали, и, подобно тому как в апреле человек полной грудью вдыхает первые запахи весны, его сердце расширилось, вбирая в себя первые веяния любви.

Это был еще не день, а рассвет; это была еще не любовь, а ее провозвестник.

Он уже собрался встать и последовать за этим магнетическим потоком, он был готов брести неведомо куда, подобно всем юным сердцам, охваченным смятением, но тут Шнейдер позвонил.

Звук колокольчика заставил Шарля вздрогнуть; мальчик спустился с высот, на которых оказался.

Появилась старая кухарка.

– Здесь ли гусары-дневальные? – спросил Шнейдер.

– Двое, – ответила старуха.

– Пусть один из них съездит за метром Никола, – сказал он.

Старуха молча затворила дверь; она несомненно знала, о ком шла речь. Шарль этого не знал, но было очевидно, что, раз за уходом мадемуазель де Брэн последовал тост, за тостом – звонок, а за звонком – приказ, только что отданный Шнейдером, значит, предстояло узнать еще нечто новое.

Также было ясно, что трое гостей знали, кто такой Никола, поскольку они, будучи на короткой ноге со Шнейдером, не задали ему никаких вопросов.

Шарлю очень хотелось спросить об этом человеке своего соседа Монне, но он не решился, опасаясь, что его вопрос услышит Евлогий и ответит на него.

На миг воцарилась тишина, во время которой, казалось, гостей Евлогия охватило гнетущее чувство; все ждали кофе, но даже появление на десерт этого бодрящего напитка не смогло развеять тягостного настроения, воцарившегося в комнате после столь простого приказа Евлогия.

Десять минут прошли при всеобщем молчании.

По истечении десяти минут послышались три характерных размеренных удара.

Гости вздрогнули – Эдельман застегнул свой распахнувшийся на мгновение фрак, Юнг закашлялся, а Монне стал таким же бледным, как воротник его рубашки.

– Это он! – сказал Евлогий, нахмутив брови, и встревоженному Шарлю показалось, что голос его изменился.

Дверь отворилась, и старуха объявила:

– Гражданин Никола!

Она посторонилась, пропуская объявленного гостя и стараясь, чтобы он никоим образом ее не коснулся.

В комнату вошел худой, бледный серьезный человек невысокого роста.

Он был одет как все, и в то же время, непонятно почему, в его костюме, манерах и во всем его облике чувствовалось что-то странное, заставлявшее насторожиться.

Эдельман, Юнг и Монне отодвинули свои стулья, и только Евлогий подвинул свой стул навстречу вошедшему.

Коротышка сделал два шага в глубь комнаты, поздоровался с Евлогием, не обращая внимания на остальных, и остался стоять, устремив на него свой взгляд.

– Завтра, в девять, – сказал ему Евлогий, – мы уезжаем.

– В какие края?

– В Плобсем.

– Мы там задержимся?

– На два дня.

– Сколько помощников?

– Двое; твоя машина в порядке?

Коротышка улыбнулся и пожал плечами, как бы говоря: «Что за вопрос!» Затем спросил:

– Ждать ли мне у Кельских ворот или зайти за тобой сюда?

– Зайдешь за мной сюда. Ровно в девять я буду тебя ждать.

Коротышка сделал шаг к двери.

– Постой, – сказал Шнейдер, – ты уйдешь только после того, как выпьешь с нами за Республику.

Коротышка поклонился в знак согласия.

Шнейдер снова позвонил, и тут же появилась старуха.

– Принеси бокал гражданину Никола, – велел он. Шнейдер взял первую попавшуюся бутылку и слегка, чтобы не взболтать жидкость, наклонил ее над бокалом – несколько капель красного вина упали на дно.

– Я не пью красного вина, – сказал коротышка.

– В самом деле! – вскричал Шнейдер. Затем он спросил со смехом:

– Так ты, как всегда, нервничаешь, гражданин Никола?

– Как всегда.

Шнейдер взял другую бутылку; это было шампанское.

– Ну-ка, – промолвил он, показывая на бутылку, – гильотинируй эту гражданку.

Он расхохотался.

Эдельман, Юнг и Монне попытались последовать его примеру, но у них ничего не вышло.

Коротышка даже не улыбнулся. Он взял бутылку, вытащил из-за пояса прямой, широкий и ровный нож, провел им несколько раз по стеклу ниже края ее отверстия и одним махом того же ножа отсек горлышко с пробкой, привинченной к нему проволокой.

Шипучая пена вырвалась из бутылки, подобно крови, брызжущей из отрубленной шеи, но Шнейдер держал бокал наготове, и ни одной капли не пролилось.

Коротышка разлил шампанское всем гостям, но лишь пять бокалов из шести оказались заполненными.

Бокал Шарля остался пуст, и мальчик благоразумно не стал просить вина.

Эдельман, Юнг, Шнейдер и Монне чокнулись с коротышкой.

То ли удар был слишком сильным, то ли это было предзнаменование, так или иначе – бокал Шнейдера разбился вдребезги.

Все пятеро воскликнули:

– Да здравствует Республика!

Но лишь четверо смогли выпить за ее здоровье: в разбитом бокале Шнейдера ничего не осталось.

На дне бутылки было еще немного вина; Шнейдер схватил ее лихорадочным движением и быстро поднес горлышко ко рту, но еще быстрее он отдернул бутылку – ее острые края рассекли ему губы.

Из окровавленного рта Шнейдера вырвалось богохульство, и он разбил бутылку об пол.

– Значит, завтра в назначенный час? – невозмутимо спросил метр Никола.

– Да, и убирайся к черту! – вскричал Шнейдер, поднося платок ко рту. Метр Никола поклонился и вышел.

Шнейдер, бледный как полотно, едва не теряя сознание при виде крови, не перестававшей течь, упал на стул.

Эдельман с Юнгом подошли к нему, чтобы оказать помощь. Шарль дернул Монне за полу фрака.

– Кто такой метр Никола? – спросил он, все еще дрожа от волнения после странной сцены, разыгравшейся на его глазах.

– Разве ты его не знаешь? – спросил в ответ Монне.

– Как я могу его знать? Я приехал в Страсбур только вчера.

Монне молча провел ребром ладони по шее.

– Я не понимаю, – сказал Шарль. Монне понизил голос.

– Ты не понимаешь, что это палач? Шарль вздрогнул.

– Значит, машина – это...

– Что же еще, черт побери!

– А что он будет делать с гильотиной в Пlobsеме?

– Он же тебе сказал, что собрался жениться!

Шарль пожал холодную потную руку Монне и бросился прочь из столовой.

Правда приоткрылась ему как бы сквозь кровавый туман!

## VII. «ЛЮБОВЬ К ОТЦУ, ИЛИ ДЕРЕВЯННАЯ НОГА»

Шарль со всех ног помчался к г-же Тейч, чей дом служил ему укрытием, подобно заячьей норе или лисьему логову; добравшись до цели, он почувствовал себя в безопасности; как только он переступил порог гостиницы «У фонаря», все его страхи остались позади.

Он спросил, где его юный товарищ. Тот находился в своей комнате и занимался там фехтованием со старшим сержантом из полка, расквартированного в Страсбуре.

Этот старший сержант служил еще при его отце, маркизе де Богарне, которому два-три раза случалось награждать этого воина за его беспредельную храбрость.

Узнав, что сын собрался в Страсбург, чтобы разыскать там нужные бумаги, отец посоветовал ему не прерывать занятий, составляющих часть воспитания молодого человека из хорошей семьи, и велел ему выяснить, по-прежнему ли служит в этом городе сержант Пьер Ожеро, и, если служит, он рекомендовал ему время от времени заниматься с ним фехтованием.

Эжен навел справки и разыскал сержанта Пьера Ожеро; правда, когда он нашел его, тот был уже старшим сержантом и занимался фехтованием исключительно ради собственного удовольствия; однако, как только он узнал, что мальчик, который хотел брать у него уроки, – сын его бывшего генерала, Пьер Ожеро заявил, что с радостью скрестит с Эженом шпаги в гостинице «У фонаря».

Усердие, с которым относился к занятиям старший сержант, объяснялось прежде всего тем, что юный ученик оказался не школяром, а почти мастером, превосходно отражавшим резкие и неожиданные удары старого вояки; не стоило сбрасывать со счетов и то, что всякий раз, когда они сражались на шпагах, ученик приглашал учителя пообедать, а еда у гражданки Тейч была вкуснее, чем в казарме.

Пьер Ожеро, служивший в полку, который вышел утром из города, чтобы прогнать австрийцев, заметил на крепостной стене своего ученика с ружьем в руках. Он всячески приветствовал его, размахивая саблей, но мальчик столь увлеченно стрелял вслед убежавшим австрийцам, что не обратил внимания на телеграфические знаки, которые посылал ему храбрый сержант.

Он узнал от гражданки Тейч, что Эжена чуть не убили; она показала ему фетровую шляпу, пробитую пулей, и рассказала, как юноша дал отпор австрийскому драгуну и нанес ему смертельный удар.

Поэтому, придя к своему ученику, Ожеро осыпал его похвалами, и тот, по своему обыкновению, пригласил старшего сержанта к трапезе, которая в Германии подается между вторым завтраком, по сути обедом, и ужином (обычно он бывает в десять часов вечера).

Когда явился Шарль, ученик и учитель уже салютовали друг другу шпагами: поединок был окончен; Эжен проявил силу, ловкость и расторопность, так что Ожеро был вдвойне горд своим учеником.

Стол был накрыт в том самом кабинете, где юноши завтракали утром.

Эжен представил сержанту своего нового друга (увидев, что мальчик столь бледен и тщедушен, Ожеро остался невысокого мнения о нем) и попросил г-жу Тейч поставить еще один прибор. Однако Шарль, недавно вставший из-за стола, еще не проголодался и заявил, что только выпьет за продвижение сержанта по службе.

Чтобы объяснить причину не отсутствия аппетита, о чем он коротко заявил: «Я пообедал» – а своей тревоги, он рассказал о сцене, только что разыгравшейся на его глазах.

Пьер Ожеро поддержал разговор рассказом о себе. Он родился в предместье Сен-Марсо в семье рабочего-каменщика и зеленщицы; с самого детства он проявлял явную склонность к фехтованию и овладел этим искусством, подобно всем парижским мальчишкам, которые учатся всему подряд; переменчивая судьба забросила его в Неаполь, где он поступил на службу

к королю Фердинанду в качестве карабинера; затем он стал учителем фехтования и, сочетая приемы неаполитанской школы с французской, сделался чрезвычайно грозным для своих соперников; однако в 1792 году, когда всем нашим соотечественникам было приказано покинуть город, он вернулся во Францию через несколько дней после второго сентября и успел вступить в ряды волонтеров, которых Дантон посылал с Марсова поля в действующую армию и которые столь блестяще проявили себя в битве при Жемапе. Ожеро получил тогда свой первый чин, затем перешел в Рейнскую армию, где маркиз де Богарне произвел его в сержанты и где только что ему присвоили звание старшего сержанта. Ему сейчас тридцать шесть лет, и он страстно желает дослужиться до капитана.

Эжену нечего было рассказывать; он предложил пойти в театр, чтобы отвлечь Шарля от грустных мыслей, что было встречено с восторгом.

В тот день в зале Брей труппа гражданина Бержера играла «Брута» Вольтера и пьесу «Любовь к отцу, или Деревянная нога» гражданина Демустье.

Все поспешили закончить ужин; ровно в шесть оба мальчика под охраной старшего сержанта (он был выше их на голову и обладал парой мощных кулаков, готовых послужить не только ему, но его друзьям) вошли зал, уже заполненный зрителями, и с трудом отыскивали три свободных места в седьмом или восьмом ряду партера. В ту пору еще не было кресел и зрители сидели на деревянных скамьях.

Благоприятный исход утреннего сражения превратил этот день в подлинный праздник, и трагедия «Брут», которую по случайности играли в тот вечер, казалась данью уважения мужеству жителей Страсбура. Зрители указывали друг другу на некоторых героев дня, и все знали, что молодой актер, исполнявший роль Тита, сражался в первых рядах и был ранен.

Посреди шума, неизменно предшествующего представлению, число зрителей которого превосходит количество мест в зале, по сигналу постановщика прозвучали три удара, и тотчас же как по волшебству в зале воцарилась тишина.

По правде говоря, тишина была вызвана не только этими тремя ударами, но и громогласным окриком Тетреля, преисполненного гордости после триумфа, одержанного им в «Пропаганде» над Шнейдером.

Шарль узнал своего ночного покровителя и указал на него Эжену, разумеется ничего не рассказывая ему ни о своей встрече с ним, ни о совете, что тот дал ему.

Эжен также узнал Тетреля, поскольку не раз встречал его на улицах Страсбура; он слышал, что этот человек был одним из тех, кто выдал его отца, и поэтому относился к нему с достаточным предубеждением.

Что касается Пьера Ожеро, он видел Тетреля впервые, и, будучи насмешником, как истинное дитя городской окраины, прежде всего обратил внимание на его гигантский нос, на ноздри столь больших размеров, что они упирались в щеки; сей нос напоминал один из огромных гасильников, прикрепляемых церковными служками на конец палки для того, чтобы гасить большие свечи, которые они не могут задуть.

Маленький Шарль оказался почти у ног Тетреля; Ожеро, сидевший дальше, рядом с Эженом, предложил мальчику поменяться с ним местами.

– Зачем? – спросил Шарль.

– Затем, что ты можешь попасть в атмосферу гражданина Тетреля, – ответил тот, – и я боюсь, как бы, вдыхая, он не втянул тебя своим носом.

Тетрель внушал скорее страх, чем любовь, и эта довольно грубая шутка вызвала всеобщий смех.

– Молчать! – рявкнул Тетрель.

– Как? – отозвался Ожеро с особенным лукавством, присущим детям Парижа.

Он встал, чтобы посмотреть в лицо тому, кто на него прикрикнул, и тут все увидели на нем мундир полка, атаковавшего утром противника, и разразились аплодисментами, а также возгласами:

– Bravo, старший сержант! Да здравствует старший сержант!

Ожеро отдал публике честь и снова сел на свое место; в тот же момент поднялся занавес, внимание зрителей переключилось на представление, и все позабыли и о носе Тетреля, и о реплике старшего сержанта.

Действие открывается, как вы помните, заседанием римского сената, где Юний Брут, первый консул Рима наравне с Публиколой, возвещает, что Тарквиний, который ведет осаду Рима, направил посла.

С самого начала было заметно воодушевление зрителей, когда, прочитав первых тридцать восемь строк, Брут произнес стихи:

Рим знает, для меня его свобода краше  
Всего на свете, но различны чувства наши.  
Я вижу, как послы везут монархов весть  
И римским гражданам оказывают честь.  
Приучим же царей, надменных сих деспотов,  
С республикой дружить и чтить права народов  
До той поры, пока, как Небеса велят,  
Колени перед ней они не преклонят.

Грянул гром аплодисментов (можно было подумать, что Франция, подобно Риму, предвидит уготовленный ей высокий жребий): Брута прервали посредине монолога. Он был вынужден остановиться примерно на десять минут.

Во второй раз его прервали с еще большим пылом, когда он дошел до следующих стихов:

Под игом деспота томившийся народ  
Вновь мужество обрел, воспрянув средь невзгод.  
Тарквиний нам вернул права святыя наши,  
Когда уже полна была терпенья чаша.  
Пускай тосканцам же послужит сей пример  
С тираном поступить на наш манер.

В этом месте актеры сделали паузу; консулы направились к алтарю вместе с сенатом; шествие сопровождалось возгласами и криками «Bravo!»; затем публика замолчала, внимая обращению к богу войны.

Актер, исполнявший роль Брута, произнес громким голосом:

*О Марс! Ты бог войны, героев и сражений,  
Ты с нами в бой идешь, ты Рима добрый гений,  
Мы присягнем тебе на алтаре святом,  
Твои сыны, сенат и я обет даем.  
Коль будет хоть один изменник в лоне Рима,  
Кто, о царях скорбя, возжаждет властелина,  
Пусть среди адских мук коварный раб умрет  
И ветер прах его презренный разнесет,  
Чтоб только имя здесь его не забывали  
И вечно, как тиранов гнусных, проклинали!*

Во времена, когда бушуют политические страсти, мы аплодируем лишь тем стихам, которые отвечают нашим чувствам, не задумываясь об их качестве. Трудно представить более плоские тирады, чем те, что слетали с уст актеров в этот вечер, и никогда великолепнейшие стихи Корнелия или Расина не были встречены с подобным восторгом.

Но восторг, казалось, достигший высшего накала, сделался беспредельным, когда поднялся занавес во втором акте и зрители увидели, как молодой актер, игравший роль Тита, брат мадемуазель Флёр из Французского театра, вышел на сцену с перевязанной рукой: австрийская пуля пронзила ему бицепс.

Казалось, что на этом спектакль и закончится.

Несколько строк, содержащих намеки на победы Тита и его патриотизм, были исполнены на «бис», как и слова Тита, отвергающего предложение Порсены:

*Я за римлян умру, ведь средь них я рожден,*

*И суровый сенат мне милее, чем трон!  
Пусть жесток он ко мне и завистлив, быть может,  
Не предам я его ради жезла вельможи.  
Я, сын Брута, храню в своем сердце не зря  
Дух свободы святой и презренье к царям.  
Дальше шла сцена, где Тит, отрекаясь от своей любви, восклицает:  
Бесплодную мечту мой разум прогоняет,  
Ведь в Капитолий Рим меня уж призывает.  
Под славным сводом сим собрался весь народ:  
Присягу чтоб принять, давно меня он ждет.  
И грозные слова восставшего народа  
Залогом будут нам немеркнувшей свободы!<sup>note 3</sup>*

И тогда наиболее пылкие молодые люди бросились на подмостки, чтоб обнять актера и пожать ему руку, в то время как женщины приветствовали его, размахивая своими платочками и бросали к его ногам цветы.

Триумф Вольтера и Брута был велик, но б первую очередь это был успех Флэри, который стал подлинным героем вечера.

Как уже было сказано, вторая пьеса, принадлежавшая перу нашего земляка Демустье, называлась «Любовь к отцу, или Деревянная нога». Это была одна из тех идиллий, на которые не скупилась республиканская муза. Следует отметить, что никогда еще драматические произведения не были более слащавыми, чем в 92, 93 и 94-м годах; к этому периоду относятся пьесы «Смерть Авеля», «Примиритель», «Женщины», «Добрая фермерша»; можно было подумать, что после кровавых уличных событий люди нуждались в Подобных незатейливых зрелищах, чтобы восстановить душевное равновесие. Так Нерон увенчал себя цветами после того, как сжег Рим.

Однако одному событию, также связанному с утренним сражением, было суждено омрачить представление этой беркинады. У г-жи Фромон, которая исполняла роль Луизы (единственную женскую роль в пьесе), в утренней схватке убили отца и мужа. Следовательно, было почти невыносимо, чтобы в подобных обстоятельствах она играла роль возлюбленной и вообще какую бы то ни было роль.

В антракте между двумя пьесами подняли занавес и на сцене вновь появился Тит – Флэри.

Зрители приветствовали его аплодисментами, вскоре смолкнувшими, ибо все поняли, что он собирается сообщить публике нечто важное.

В самом деле, он вышел со слезами на глазах, чтобы от имени г-жи Фромон спросить у публики, не разрешит ли она дирекции театра заменить оперу «Любовь к отцу» оперой «Роза и Кола», поскольку г-жа Фромон оплакивает отца и мужа, отдавших жизнь во имя Республики.

Со всех сторон раздались возгласы «Да! Да!» и дружные крики «Браво!». Флэри уже кланялся публике, перед тем как удалиться, как вдруг Тетрель поднялся с места и показал жестом, что хочет говорить.

Тотчас же несколько голосов воскликнули:

– Это Тетрель, друг народа! Это Тетрель, гроза аристократов! Дайте ему слово! Да здравствует Тетрель!

## VIII. ВЫЗОВ

В тот вечер Тетрель выглядел необыкновенно элегантно: на нем был голубой фрак с золотыми пуговицами и белый пикейный жилет, отвороты которого почти полностью закрывали лацканы фрака; его талию стягивал трехцветный пояс, окаймленный золотой бахромой; за этим поясом висели пистолеты с деревянной рукояткой, инкрустированной слоновой костью, и со стволом, украшенным золотым узором; его сабля в ножнах из красного сафьяна, вызывающе брошенная на перила балкона, нависла над партером, подобно дамоклову мечу.

Прежде всего Тетрель ударил кулаком по перилам балкона, взметнув с бархата тучи пыли.

– Граждане, что здесь такое происходит? – спросил он с раздражением. – Я думал, что нахожусь в Лакедемоне, но, видимо, я ошибался, и мы оказались в Коринфе или Сибарисе. Где это видано, чтобы республиканка посмела прикрываться подобной отговоркой перед лицом других республиканцев? Таким образом мы равняем себя с этими жалкими рабами с другого берега, с этими собаками-аристократами, которые, когда мы стегаем их плетьюми, истошно вопят: «Liberal»<sup>note 4</sup> Двое мужчин отдали жизнь за родину? Вечная слава их памяти! Спартанские женщины, вручая щиты своим сыновьям и мужьям, говорили им такие слова: «Со щитом либо на щите!» И когда те возвращались на щитах, то есть убитыми, женщины облачались в свои самые нарядные одежды. Гражданка Фромон красива, у нее не будет отбоя от поклонников! Не все красивые парни были убиты у Агноских ворот. Что касается ее отца, то все старые патриоты как один готовы оспаривать почетное право занять его место; не надейся же, гражданин Флэри, разжалобить нас мнимым горем гражданки, которой улыбнулась фортуна сражений: от одного пушечного залпа она приобрела в наследство ореол славы и весь народ стал ее семьей. Ступай скажи ей, чтобы она предстала перед нами, скажи, чтобы она нам спела и, главное, чтобы она избавила нас от своих слез: сегодня народный праздник, а слезы – удел аристократов!

В зале стояла тишина. Тетрель, как уже было сказано, был третьим влиятельным лицом в Страсбуре и, возможно, более грозной силой, чем два других вождя. Гражданин Флэри, пятась, ушел со сцены, и через пять минут занавес поднялся, являя взорам первую сцену «Любови к отцу»; это свидетельствовало о том, что приказу Тетреля подчини-

Лишь в силу крайней необходимости, чтобы дать полное представление о последующей сцене, мы прибегаем к описанию этой убогой пасторали, заставив себя перечитать ее и взяв на себя труд передать читателю в общих чертах ее содержание.

Спектакль начинается хорошо знакомыми всем стихами и музыкой:

*Юноша, сорви цветы  
Для венка своей пастушке,  
И обласкан будешь ты -  
Ждет тебя любовь подружки.*

Старый солдат уединился в хижине у подножия Альп; в этом месте происходила Нефельская битва, когда он был ранен и какой-то солдат, которого он с тех пор не видел, спас ему жизнь.

Он живет здесь вместе с сыном. А тот, пропев первое четверостишие, исполняет еще одно – оно дополняет смысл предыдущего:

*Я же, хоть любви не жду,  
Как влюбленный на рассвете,  
Для отца венок плету:  
Он дороже всех на свете!*

Старый солдат просыпается прежде, чем сын закончит плести венок (что за дурацкое занятие для двадцатипятилетнего парня!), и мы так и не увидим, как выглядят на его голове

все эти кувшинки и незабудки; но зато зрители могут насладиться дуэтом, где сын отвергает всяческие помыслы о любви и браке, которые отец пытается внушить ему:

Мне кажется, что нет любви нежней, Чем та, что к вам питаю я в душе моей.

Однако скоро он изменит свое мнение о любви; нарвав цветов для венка отцу, он собирает для него фрукты к завтраку, и тут на сцену выбегает девушка и поет:

*Ах, добрый старик,*

*Услышите мой крик,*

*Прошу я вас помочь моей беде...*

*Вы не встречали странника нигде?* note 5

Странник, за которым гонится девушка, не кто иной, как ее отец. Старик его не видел, девушка очень взволнована... поэтому она завтракает и тут же засыпает. Затем все отправляются на поиски блудного отца; Арман, молодой человек, рвавший до этого цветы, находит его без всякого труда, тем более что человеку, которого ищут, шестьдесят лет и у него деревянная нога.

Стоит ли говорить о радости Луизы при виде вновь обретенного отца; радость усиливается вдвойне, когда, после недолгих объяснений, отец Армана узнает в ее отце того самого солдата, что спас ему жизнь в Нефельской битве и потерял при этом ногу, но благодаря королевской милости получил взамен деревянную ногу!.. Этот неожиданный поворот сценического действия объясняет двойное, столь красочное заглавие произведения: «Любовь к отцу, или Деревянная нога».

До тех пор пока бедной г-же Фромон приходилось звать отца, аукаясь с альпийским эхом, и оплакивать свою потерю, слезы и скорбь удивительно украшали ее игру; но когда актриса нашла его в сценическом действии, в то время как она на самом деле потеряла своего отца навсегда, контраст между ролью дочери и собственной участью заставил ее увидеть свое истинное положение во всей ужасающей наготы. Актриса перестала быть актрисой и снова стала просто дочерью, просто женой. Она горестно закричала, оттолкнула своего отца по роли и, лишившись чувств, упала в объятия героя-любownika, который унес ее со сцены.

Занавес опустился. И тут в зале поднялся страшный переполох. Большинство зрителей были на стороне несчастной г-жи Фромон и неистово аплодировали ей с криками: «Хватит! Хватит!», другие кричали: «Гражданка Фромон! Гражданка Фромон!», вызывая ее на сцену скорее для поклона, нежели призывая продолжить игру. Несколько недоброжелателей или бездушных Катонов, в том числе и Тетрель, кричали:

– Дальше! Дальше!

Через пять минут, в течение которых в зале стоял ужасный шум, занавес снова поднялся и вновь воцарилась тишина; несчастная вдова, залитая слезами, бледная как полотно, с трудом вышла на сцену в трауре, опираясь на руку Флэри, рана которого словно служила ей защитой, чтобы поблагодарить одних за оказанные ей знаки внимания и попросить пощады у других.

Завидев ее, зал разразился аплодисментами и криками «Браво!»; они были бы единодушными, если бы с балкона, наперекор всем, не раздавался одинокий свист.

Но едва лишь прозвучал этот свист, как в ответ послышался возглас из партера:

– Мерзавец!

Тетрель подпрыгнул и, свесившись с балкона, заорал:

– Кто сказал «мерзавец»?

– Я! – воскликнул тот же голос.

– И кого же ты назвал мерзавцем?

– Тебя!

– Ты прячешься в партере; ну-ка, покажись, если ты не трус.

Подросток, примерно пятнадцати лет, одним махом вскочил на скамью и, возвышаясь над другими зрителями, промолвил:

– Вот и я; как видишь, не трус.

– Эжен Богарне! Сын генерала Богарне! – вскричали те зрители, кто знал его отца, служившего в Страсбуре, и узнали сына, не так давно приехавшего в город.

Генерал Богарне был всеобщим любимцем; несколько зрителей окружили мальчика; Ожеро и Шарль собрались примкнуть к его защитникам.

– Дворянский волчонок! – завопил Тетрель, увидев своего противника.

– Помесь волка и собаки! – отпарировал мальчик, не уstraшенный ни кулаками, ни грозным взглядом вождя «Пропаганды».

– Если ты заставишь меня спуститься к тебе, – вскричал Тетрель, скрипя зубами, – берегись! Я тебя выпорю.

– Если ты заставишь меня подняться к тебе, – ответил Эжен, – берегись: я дам тебе пощечину.

– Смотри, вот тебе, сопляк, – сказал Тетрель с деланным смехом и щелкнул пальцами в сторону Эжена.

– А это тебе, подлец! – воскликнул мальчик, швыряя ему в лицо перчатку, в которую вложил две-три свинцовые пули.

Перчатка, брошенная с ловкостью истинного школяра, угодила прямо в лицо Тетрелю.

Тот закричал от ярости и поднес к щеке руку, и та тотчас же обагрилась кровью.

Одержимый жаждой мщения, Тетрель не стал терять времени на обходной путь по коридорам. Он выхватил из-за пояса пистолет и навел его на мальчика, вокруг которого тут же образовалась пустота, ибо дрожащая рука Тетреля грозила всадить пулю не только в него, но и в любого из стоящих рядом.

Однако в тот же миг мужчина, парижский волонтер с нашивками сержанта на мундире, прикрыв мальчика своим телом, бросился между ним и Тетрелем, а затем встал, скрестив на груди руки.

– Не горячись, гражданин! – сказал он, – ведь тому, кто носит на боку саблю, не пристало быть убийцей.

– Bravo, волонтер! Bravo, сержант! – послышалось со всех сторон.

– Известно ли тебе, – продолжал волонтер, – известно ли тебе, что делал этот ребенок, этот дворянский волчонок, этот сопляк, как ты его называешь, в то время как ты разглагольствовал в «Пропаганде»? Так вот, он сражался, чтобы не дать врагу войти в Страсбур; пока ты требовал головы своих друзей, он поражал насмерть врагов Франции. Ну-ка, заткни обратно за пояс твой пистолет, хоть я и не боюсь его, и послушай то, что я еще должен тебе сказать.

В зрительном зале стояла мертвая тишина, и на подмостках, где все еще был поднят занавес, столпились артисты, рабочие сцены и гвардейцы.

И в этой тишине, насыщенной странной тревогой, волонтер продолжал свою речь, не повышая голоса, что не мешало всем зрителям прекрасно его слышать.

– Я должен еще тебе сказать, – сказал сержант, встав рядом с Эженом и положив руку ему на плечо, – что этот мальчик не дворянский волчонок и не сопляк, а мужчина, получивший сегодня благодаря нашей победе боевое крещение как республиканец. Назвав тебя мерзавцем и подлецом, он еще бросает вызов и ждет тебя вместе с твоим секундантом, чтобы сразиться на дуэли. Он предоставит тебе право выбрать любое оружие, если только ты, по своему обыкновению, не выберешь в качестве оружия гильотину и не возьмешь в секунданты палача. Ты слышишь, я говорю от его и своего имени; это я за него отвечаю, я, Пьер Ожеро, старший сержант первого полка волонтеров Парижа! Ну, а теперь можешь вешаться где тебе угодно! Пойдем, гражданин Эжен.

Взяв мальчика под мышки, он поставил его на пол, но перед этим поднял его достаточно высоко, чтобы все могли его видеть и приветствовать бешеными аплодисментами.

Провожаемый криками, воплями «Ура!» и «Браво!», Ожеро покинул зал вместе с обоими юношами, и половина зрителей провожала их до самой гостиницы «У фонаря» с возгласами:  
– Да здравствует Республика! Да здравствуют парижские волонтеры! Долой Тетреля!

## IX. ШАРЛЬ АРЕСТОВАН

Заслышав шум, который все усиливался, приближаясь к гостинице «У фонаря», славная г-жа Тейч вышла за дверь и еще издали, в свете факелов, которыми вооружились несколько самых восторженных зрителей, узнала двух своих постояльцев и сержанта Пьера Ожеро, возвращавшихся к ней с триумфом.

Страх, посеянный Тетрелем среди жителей города, принес свои плоды; урожай созрел: глава «Пропаганды» пожинал ненависть.

Примерно тридцать добровольцев предложили Пьеру Ожеро обеспечивать безопасность его ученика, считая возможным, что гражданин Тетрель воспользуется темнотой, чтобы осуществить против него какой-нибудь злой умысел.

Однако сержант поблагодарил их и сказал, что сам будет следить за безопасностью юноши, потому что он за него отвечает.

Чтобы поддержать добрые намерения своих провожатых – они еще могли понадобиться ему впоследствии, – Ожеро решил угостить их главарей стаканчиком пунша или горячего вина.

Как только он предложил им это, кухня гостиницы «У фонаря» заполнилась людьми; они принялись греть вино в гигантском котле, растапливать сахар и смешивать все это со спиртом.

Гости разошлись в полночь с криками «Да здравствует Республика!», обменявшись до этого бесчисленными рукопожатиями и клятвами о заключении оборонительного и наступательного союза.

Когда последний любитель горячего вина покинул гостиницу, когда за ним заперли дверь, а ставни закрыли столь тщательно, что сквозь них не мог просочиться свет, Ожеро с серьезным видом обратился к Эжену:

– Теперь, мой юный ученик, следует подумать о вашей безопасности.

– Как о моей безопасности? – вскричал юноша. – Разве вы не говорили, что мне нечего опасаться и вы за меня отвечаете?!

– Конечно, я отвечаю за вас, но при условии, что вы будете делать то, что я сочту нужным.

– Что ты будешь делать и то, что я сочту нужным, – поправила славная гражданка Тейч, проходя мимо.

– Правильно, – сказал учитель фехтования, – только мне кажется странным, что мы обращаемся на «ты» к сыну моего генерала, который к тому же маркиз. Ничего, привыкнем. Стало быть, я говорил, что отвечаю за тебя, но при условии: ты будешь делать все, что я сочту нужным.

– Ну, и чего же ты от меня хочешь? Я надеюсь, ты не посоветуешь мне совершить какую-нибудь подлость?

– Эх, господин маркиз, – сказал Ожеро, – не стройте подобных предположений, или, разрази гром Республику, мы поссоримся.

– Полно, милый Пьер, не сердись; что ты мне предлагаешь? Говори скорее.

– У меня множество оснований не доверять человеку, который прячется за носом такого размера, будто мы на карнавале. Во-первых, он не будет драться.

– Почему же он не будет драться?

– Да потому, что он, по всей видимости, страшный трус!

– Хорошо, а если он все-таки будет драться?

– Если он будет драться, тут ничего не скажешь; тогда мы рискуем всего лишь получить удар шпагой или пулю; ну, а если он не будет драться?..

– И что же тогда?

– Тогда совсем другое дело! Если он не будет драться, опасность возрастает, если он не будет драться, тебе могут отрубить голову, я же хочу избавить тебя от этого.

- Каким образом?
- Я возьму тебя с собой в казарму парижских волонтеров; ручаюсь, что там он не станет тебя искать.
- Прятаться? Ни за что!
- Тише, мой юный друг! – сказал старший сержант, нахмурившись. – Не говори подобных вещей Пьеру Ожеро: он кое-что смыслит в отваге; нет, ты не будешь прятаться, ты всего-навсего будешь там ждать.
- Чего я буду там ждать?
- Секундантов гражданина Тетреля.
- Его секундантов? Он же пришлет их сюда, а я даже не буду знать, что он их послал, поскольку меня здесь не будет.
- Ну, а малютка Шарль, который ничем не рискует, не для того ли он появился на свет, чтобы оставаться здесь и сообщать нам о том, что тут будет происходить? Тысяча чертей! До чего же у вас скверный характер: во всем вы видите только сложности.
- Ты видишь, – поправила его гражданка Тейч, во второй раз проходя мимо них.
- Ты видишь! Ты видишь! – повторил эти слова старший сержант, как бы внушая их себе. – Однако мамаша Тейч права... Ладно, решено, ты пойдешь ко мне.
- И как только что-нибудь произойдет, ты прибежишь в казарму, не так ли, Шарль?
- Даю твое честное слово.
- А теперь, – сказал Ожеро, – пол-оборота налево!
- Куда мы идем?
- В казарму. – Через двор?
- Через двор.
- А почему не через дверь?
- Если мы выйдем через дверь, какой-нибудь зевака может нас заметить и, от нечего делать, проследить, куда мы направляемся, а во дворе я знаю одну надежную дверь, которая выходит в переулок, где и днем никого не сыщешь; так, петляя по переулкам, мы доберемся до казармы, и ни одна душа не будет знать, куда подевались пташки.
- Ты не забудешь о том, что обещал, Шарль?
- Хотя я и моложе тебя на два года, я, как и ты, всегда держу слово, Эжен; впрочем, за сегодняшний день я стал старше – твоим ровесником; прощай, спи спокойно, Ожеро позаботится о твоей безопасности, а я позабочусь о твоей чести.
- Молодые люди пожали друг другу руки, и старший сержант едва не расплющил ладошку Шарля, сжав ее в своем кулаке; затем он повел Эжена во двор, а Шарль тем временем морщился от боли, пытаясь разлепить свои пальцы.
- Преуспев в этом, юноша, как обычно, взял ключ и подсвечник, вернулся в свою комнату и лег спать.
- Но едва лишь он улегся, как дверь отворилась и г-жа Тейч вошла на цыпочках, показывая жестом, что ей нужно сообщить нечто важное.
- Юноша уже достаточно свyksя со своеобразными манерами г-жи Тейч, и его не особенно встревожило ее появление в номере в столь неурочный час.
- Приблизившись к его кровати, она прошептала:
- Бедный ангелочек, послушай!
- Боже мой, гражданка Тейч, – спросил Шарль со смехом, – что там еще стряслось?
- Рискую нарушить ваш покой, я должна сообщить вам, что здесь случилось.
- Когда случилось?
- В то время, когда вы были в театре.
- Значит, что-то произошло?
- Ах! Еще бы! Они явились сюда.

- Кто же?
- Люди, что уже приходили за гражданами Дюмоном и Байлю.
- Ну, и я полагаю, что они нашли их так же, как в первый раз.
- Они искали не их, моя прелесть.
- Кого же они искали?
- Они искали тебя.
- Меня? Ах! И за что же мне такая честь?
- Видимо, они ищут автора той записки, помните?
- В которой я советовал моим землякам как можно скорее уехать?
- Да.
- Ну и что?
- Ну и они зашли в вашу комнату и перерыли все ваши бумаги.
- В этом отношении я спокоен: в них не было ничего против Республики.
- Да, но они нашли акт из трагедии.
- А! Из моей трагедии «Терамен».
- Они унесли его с собой.
- Негодяи! К счастью, я знаю его наизусть.
- Знаете ли вы, почему они его унесли?
- Оттого, полагаю, что стихи пришлись им по вкусу.
- Нет, не поэтому; они увидели, что почерк в этой рукописи тот же, что и в записке.
- А! Это осложняет дело.
- Бедное дитя, ты знаешь закон: всякого, кто приютит у себя подозреваемого или поможет ему бежать...
- Да, его ждет смертная казнь.
- Поглядите, как он судит об этом, чертенок, он словно говорит вам: «Да, ждет бутерброд с вареньем».
- Я говорю об этом так, дорогая госпожа Тейч, потому что это меня не касается.
- Что вас не касается?
- Смертная казнь.
- Почему же это вас не касается?
- Потому что гильотины достаивается лишь тот, кому уже исполнилось шестнадцать лет.
- Ты в этом уверен, бедный мальчик?
- Разумеется, я справлялся об этом; вдобавок я вчера прочел на стене новый приказ гражданина Сен-Жюста, который запрещает приводить в исполнение всякое постановление об аресте до тех пор, пока ему не представят все документы и он не допросит обвиняемого... И все же...
- Что? – спросила г-жа Тейч.
- Подождите; принесите мне чернила, перо и бумагу. Взяв перо, Шарль написал: «Гражданин Сен-Жюст, меня арестовали незаконно, и, надеясь на твою справедливость, я прошу разрешения предстать перед тобой».
- И он поставил внизу свою подпись.
- Вот, – сказал он г-же Тейч. – В нынешние времена нужно быть готовым ко всему. Если меня арестуют, вы передадите эту записку гражданину Сен-Жюсту.
- Господи Иисусе! Бедный малыш, если случится такая беда я обещаю тебе, что сама отнесу ее и отдам ему прямо в руки, даже если мне придется просидеть в приемной целые сутки.
- Вот и все, что требуется; ну, а теперь, гражданка Тейч, поцелуйте меня и спите спокойно, я постараюсь сделать то же самое.
- Госпожа Тейч поцеловала своего гостя и удалилась, бормоча:

– Поистине, Господи, настоящие дети перевелись на земле: один ребенок вызывает на дуэль гражданина Тетрея, а другой просит, чтобы его отвели к гражданину Сен-Жюсту!

Госпожа Тейч закрыла за собой дверь; Шарль задул свечу и уснул.

На следующее утро, около восьми часов, когда он привадил в порядок свои бумаги, слегка перепутанные после вчерашнего обыска, вдруг в его комнату влетела гражданка Тейч с криком:

– Они пришли! Они пришли!

– Кто? – спросил Шарль.

– Люди из полиции, которые пришли арестовать тебя, бедный малютка! Шарль живо спрятал на груди под рубашкой второе письмо своего отца, то, что было адресовано Пишегрю; он опасался, что письмо заберут и не вернут ему.

Полицейские вошли в комнату и предъявили юноше постановление об аресте; он заявил, что готов следовать за ними.

Проходя мимо гражданки Тейч, он взглянул на нее, как бы говоря: «Не забудьте».

Гражданка Тейч ответила ему кивком, означавшим «Будь спокоен!». Сбиры увели Шарля.

Путь в тюрьму пролегал мимо дома Евлогия Шнейдера. Мальчик собрался было попросить, чтобы его отвели к человеку, которому он был рекомендован и с которым они вместе обедали накануне, но, увидев у входа гильотину и рядом с ней пустой экипаж, а на крыльце метра Никола, он припомнил вчерашнюю сцену и с отвращением покачал головой, прошептав:

– Бедная мадемуазель де Брэн! Да хранит ее Бог! Мальчик принадлежал к числу тех, кто еще верил в Бога; поистине, это был суший ребенок.

## Х. ПРОГУЛКА ШНЕЙДЕРА

Как только Шарль и его конвойные прошли мимо дома, дверь Евлогия Шнейдера распахнулась и чрезвычайный комиссар Республики появился на пороге, любовно оглядел оружие смерти, тщательно разобранный и уложенный на повозку, подал приветственный знак метру Никола и сел в пустую карету.

Перед тем как сесть, он спросил у метра Никола:

– А как же ты?

Тот указал на кабриолет, на полной скорости подъезжавший к дому; в нем сидели двое мужчин.

Мужчины были его подручными; кабриолет – его каретой.

Все были в сборе: обвинитель, гильотина и палач.

Кортеж направился по улицам города к Кельским воротам, где начиналась дорога на Плобсем.

Повсюду, где пролегал его путь, он оставлял ощущение ужаса, леденящего кровь. Люди, сидевшие на крыльце, возвращались в дом; прохожие жались к стенам, мечтая стать невидимыми. Лишь некоторые фанатики размахивали шляпами с криком «Да здравствует гильотина!», то есть «Да здравствует смерть!», но, к чести человечества, следует уточнить, что таких было немного.

Традиционная свита Шнейдера – восемь «гусаров смерти» – поджидала его у ворот.

Шнейдер делал остановку в каждом населенном пункте, который оказывался на его пути, и сеял там страх. Как только зловещий кортеж останавливался на площади, объявлялось, что комиссар Республики готов выслушать от любого человека любые обвинения. Он слушал доносы, допрашивал дрожащих муниципальных советников и мэра, отдавал приказы об арестах и уезжал, оставляя селение столь унылым и опустошенным, как будто его только что посетила желтая лихорадка или чума.

Селение Эшо располагалось на некотором удалении по правую сторону от дороги, поэтому его жители надеялись, что опасность обойдет их стороной. Но они горько ошибались.

Комиссар свернул на проселочную дорогу, размытую дождями; его карета и экипаж метра Никола без труда проехали по ней, ибо они были легкие, но повозка, которая везла красную машину, увязла в грязи.

Шнейдер послал четверых «гусаров смерти» за подмогой – людьми и лошадьми.

Лошади и люди не спешили: желающих помочь этой похоронной процессии было немного. Шнейдер пришел в ярость; он грозился остаться в Эшо навечно и обезглавить всех его жителей.

И он сделал бы это, если бы так было нужно, ибо всемогущество подобных ему грозных диктаторов было в ту пору беспредельно.

Таким же образом можно объяснить бойню, которую Колло д'Эрбуа устроил в Лионе, а Каррье – в Нанте; жажда крови обуяла их, подобно тому как восемнадцать столетий назад та же жажда овладела Нероном, Коммодом, Домицианом и им подобными.

В конце концов, благодаря местной подмоге, застрявшую повозку вытащили из грязи, и кортеж въехал в поселок.

Мэр, его заместитель и муниципальные советники ждали комиссара Республики на краю главной улицы, чтобы обратиться к нему с приветственной речью.

Но тот приказал своим «гусарам смерти» окружить их, не пожелав выслушать ни слова из того, что они собирались ему сказать.

Это происходило в базарный день. Шнейдер остановился на главной площади и велел установить эшафот на глазах охваченных ужасом жителей селения.

Затем он приказал привязать мэра к одной из перекладин гильотины, его заместителя – к другой, а весь муниципальный совет должен был выстроиться на помосте эшафота.

Подобным образом он ставил к позорному столбу всех тех, кто, по его мнению, пока еще не заслуживал смертной казни.

Дело было в поддень, в обеденный час. Шнейдер отправился в гостиницу, которая находилась напротив эшафота, велел накрыть стол на балконе и принялся обедать под охраной четверых «гусаров смерти».

Когда подали десерт, он встал, поднял бокал над головой и вскричал: «Да здравствует Республика и смерть аристократам!» Как только собравшиеся внизу зеваки и даже те, кто с высоты эшафота со страхом смотрел на комиссара, не зная, как он решит их участь, дружно поддержали его возглас, он сказал:

– Хорошо, я вас прощаю.

Он приказал отвязать мэра с его заместителем и разрешил муниципальным советникам спуститься на землю, повелев им помочь палачу и его подручным разобрать гильотину и уложить ее на повозку, дабы показать всем пример равенства и братства, а затем позволил им торжественно проводить его на другой конец селения.

Кортеж прибыл в Плюбсем около трех часов пополудни. Шнейдер спросил в первом же доме, где находится особняк графа де Брёна.

Ему указали дорогу.

Граф жил на Рейнской улице, самой красивой и широкой в городе; подъехав к дому, комиссар приказал установить перед ним гильотину, оставил четырех гусаров охранять эшафот и взял остальных четверых с собой.

Он остановился в гостинице «Фригийский колпак», бывшем «Белом кресте».

Там он написал:

«Гражданину Брёну в городскую тюрьму.

Если ты поклянешься в письменной форме, что не будешь пытаться бежать, тебя освободят.

Одно условие: ты пригласишь меня на обед завтра в полдень, ввиду того что мне надо поговорить с тобой о важных делах.

Евлогий Шнейдер».

Он послал это письмо графу де Брёну с одним из гусаров. Спустя десять минут гусар привез следующий ответ:

«Я даю слово гражданину Шнейдеру вернуться домой и не выходить оттуда, пока он не даст мне на это разрешения. Я буду счастлив принять его завтра у себя и отобедать с ним в назначенный час.

Брён».

## XI. СВАТОВСТВО

Увидев жуткую машину, которая была установлена перед домом, мадемуазель де Брён тотчас же приказала закрыть ставни окон фасада, выходявшего на улицу.

Дом, наглухо закрытый, подобный склепу, с возвышающимся перед ним эшафотом, – таким увидел его граф де Брён, покинувший тюрьму без всякой стражи, под залог взятого на себя обязательства.

Он спросил себя, что бы это значило и следует ли ему идти дальше.

Но его колебания длились недолго: ни эшафот, ни могила не заставили бы его отступить; он направился прямо к двери и постучал три раза, как всегда: два первых удара – друг за другом, третий – после небольшой паузы.

Клотильда в это время удалась со своей компаньонкой г-жой Жерар в комнату, расположенную в глубине дота и выходящую в сад.

Откинувшись на диванные подушки, она плакала: ведь Шнейдер дал ясный, недвусмысленный ответ на ее просьбу.

Услышав два первых удара дверного молотка, она вскрикнула, при третьем ударе вскочила на ноги.

– Ах, Господи! – воскликнула она. Госпожа Жерар побледнела.

– Если бы граф не был сейчас в тюрьме, – сказала она, – можно было бы поклясться, что это он.

Клотильда устремилась к лестнице.

– Это его шаги, – прошептала она. Затем послышался голос, вопрошавший:

– Клотильда, где ты?

– Отец! Отец! – вскричала девушка и побежала вниз, прыгая через ступеньки.

Граф, ждавший дочь у подножия лестницы, заключил ее в объятия.

– Дочь моя, дитя мое, – пробормотал он, – что все это значит?

– Откуда мне знать?

– Что значит этот эшафот у самого порога? Почему закрыты окна?

– Эшафот поставил Шнейдер, а ставни закрыла я, и закрыла их, чтобы не видеть, как вас будут казнить.

– Но ведь именно Шнейдер открыл двери моей тюрьмы и выпустил меня под честное слово, напросившись при этом завтра к нам на обед.

– Отец, – сказала Клотильда, – возможно, я была не права, но эта ошибка вызвана моей любовью к вам; когда вас арестовали, я помчалась в Страсбург и попросила вас помиловать.

– Ты просила Шнейдера?

– Да, Шнейдера.

– Несчастливая! И какой же ценой он выполнил твою просьбу?

– Отец! О цене нам только предстоит договориться; завтра он наверняка представит нам свои условия.

– Давай подождем.

Клотильда взяла молитвенник, вышла из дома и уединилась в небольшой местной церкви, настолько скромной, что никому и в голову не пришло отобрать ее у Бога.

Она молилась там до самого вечера.

Гильотина стояла перед домом всю ночь.

На следующий день, в полдень, комиссар Республики явился к графу де Брёну.

Несмотря на зимнюю пору, дом утопал в цветах; можно было бы подумать, что сегодня праздник, если бы не скорбь Клотильды, не вязавшаяся с внешними признаками радости, подобно тому как снег, лежавший на улице, не соответствовал приметам весны.

Шнейдер был принят графом и его дочерью. Он не напрасно взял имя Евлогий: уже через десять минут Клотильда спрашивала себя, тот ли это человек, который столь грубо обошелся с ней в Страсбуре.

Успокоенный граф вышел, чтобы отдать распоряжения слугам.

Шнейдер предложил девушке руку и, подведя ее к окну, открыл его.

Гильотина стояла прямо перед окном, украшенная цветами и лентами.

– Выбирайте, – сказал он, – эшафот или алтарь.

– Что это значит? – спросила Клотильда, дрожа всем телом.

– Либо завтра вы станете моей женой, либо завтра граф умрет.

Клотильда стала белой, как батистовый платок, который она держала в руке.

– Мой отец предпочтет умереть, – сказала она.

– Итак, – продолжал Шнейдер, – я поручаю вам передать ему мое желание.

– Вы правы, – сказала она, – у меня нет другого выхода.

Шнейдер закрыл окно и увел мадемуазель де Брэн в глубь комнаты. Клотильда достала из кармана флакончик с нюхательной солью и вдохнула.

Она сделала над собой невероятное усилие, и ее лицо, оставшееся все таким же печальным, обрело прежнее спокойствие, а розовые тона, казалось навеки покинувшие его, вновь заиграли на щеках.

Было ясно, что она приняла решение.

Граф вернулся в комнату. За ним следовал слуга, объявивший, что обед подан.

Клотильда встала, взяла Шнейдера под руку прежде, чем он успел предложить ей руку, и повела его в столовую.

Их ждала роскошная трапеза; ночью в Страсбур были посланы слуги, и они привезли оттуда самую редкую дичь и самую ценную рыбу, какую можно было там найти.

Граф более или менее успокоился; как подобает знатному вельможе, он потчевал комиссара Республики изысканнейшими блюдами; они пили лучшие вина рейнских департаментов, Германии и Венгрии. Только бледная девушка почти ничего не ела и лишь время от времени подносила к губам стакан воды.

Однако в конце трапезы она протянула свой бокал отцу, и граф, удивленный этим, наполнил его токайским вином.

Затем она поднялась с места и, подняв бокал, провозгласила:

– За Евлогия Шнейдера, за великодушного человека, кому я обязана жизнью моего отца; счастлива и горда будет женщина, которую он изберет своей женой.

– Прекрасная Клотильда, – вскричал Шнейдер, вне себя от радости, – разве вы не догадались, что эта женщина – вы, и стоит ли говорить, что я люблю вас?

Клотильда медленно и осторожно приблизила свой бокал к бокалу Евлогия, чокнулась с ним и встала перед своим изумленным отцом на колени.

– Отец, – сказала она, – я умоляю вас дать разрешение на брак с благодетелем; ему я обязана вашей жизнью и призываю Небо в свидетели, что не поднимусь с колен до тех пор, пока вы не окажете мне эту милость.

Граф смотрел то на Шнейдера, лицо которого сияло от радости, то на Клотильду, на челе которой кротко сиял ореол мученицы.

Он понял: на его глазах происходит нечто столь величественное и возвышенное, что он не имеет права этому противиться.

– Дочь моя, – сказал он, – ты вольна распоряжаться своей рукой и своим состоянием, поступай по своему усмотрению, и то, что ты сделаешь, принесет благо.

Клотильда встала и протянула Шнейдеру руку.

Тот поспешно схватил ее, в то время как Клотильда, запрокинув голову назад, казалось, зывала к Богу, удивляясь, что подобные мерзости не оскорбляют его священные очи.

Однако когда Шнейдер поднял голову, лицо девушки уже обрело прежнее выражение спокойствия, исчезнувшее на миг, когда она обращалась к Богу, не услышавшему ее мольбы.

В ответ на просьбу Шнейдера приблизить день его блаженства, она улыбнулась и сказала, пожимая ему обе руки:

– Послушай, Шнейдер, я требую, чтобы твое нежное чувство оказало мне одну из тех милостей, в которой нельзя отказать невесте, ибо я не только счастлива, но немного тщеславна. Первому из наших граждан не пристало даровать свое имя избранной им женщине, которую он любит, в Плобсеме – бедной эльзасской деревушке; я хочу, чтобы весь народ признал меня супругой Шнейдера и не принимал за его наложницу. Нет ни одного города, где бы ты не появлялся в сопровождении любовницы; люди могут легко ошибиться. Отсюда до Страсбура всего пять льё; мне нужно подготовить свадебный наряд, ибо я хочу, чтобы все во мне было достойно моего супруга. Завтра, когда ты пожелаешь, мы уедем одни или с провожатыми, и я отдам тебе свою руку в присутствии горожан, генералов и народных представителей <sup>note 6</sup>.

– Я очень этого хочу! – вскричал Шнейдер. – Твои желания для меня закон, но при одном условии.

– Каком же?

– Мы отправимся в путь не завтра, а сегодня.

– Это невозможно, – побледнев, сказала Клотильда, – сейчас половина второго, а городские ворота закрываются в три.

– Значит, они закроются в четыре.

И он позвал двух гусаров, опасаясь, что, если отправит одного гонца, с ним может приключиться какая-нибудь беда.

– Скачите во весь опор, – повелел он им, – скачите во весь опор до самого Страсбург, и пусть Кельские ворота не закрываются до четырех часов. Вы проследите у этих ворот, чтобы приказ был исполнен.

– Следует делать все, что вы пожелаете, – сказала Клотильда, и ее рука безвольно опустилась на руку Шнейдера. – Отец, мне определенно кажется, что я буду очень счастливой женой!

## ХII. СЕН-ЖЮСТ

Как мы видели, прошла ночь, а от Тетреля не поступало никаких известий; точно так же прошел следующий день.

В пять часов пополудни, устав ждать известий, Эжен и Ожеро решили отправиться за ними сами и вернулись в гостиницу «У фонаря».

И действительно, здесь они кое-что узнали.

Госпожа Тейч, пребывавшая в полном отчаянии, рассказала им, что ее бедный малютка Шарль был арестован в восемь часов утра и отправлен в тюрьму.

Целый день она прождала свидания с Сен-Жюстом и смогла его увидеть только в пять часов вечера.

Она вручила ему записку Шарля.

– Хорошо, – сказал Сен-Жюст, – если то, что вы мне рассказали, правда, завтра его освободят.

Эти слова несколько обнадежили г-жу Тейч, и она удалилась; гражданин Сен-Жюст не показался ей столь свирепым, как утверждали.

Хотя Шарль считал себя совершенно невиновным, поскольку за свою жизнь школяра никогда не имел отношения к политике, он проявлял некоторое нетерпение, ожидая известий, которые за весь день так и не поступили; на следующий день это нетерпение переросло в тревогу: утро проходило, а народный представитель все так и не вызывал его к себе.

Это происходило не по вине Сен-Жюста, одного из пунктуальнейших людей, всегда державшего свое слово. На этот день была намечена очень ранняя поездка во французские войска, расположенные вокруг города, с целью проверки, неукоснительно ли выполняются приказы Сен-Жюста об охране Страсбура.

Сен-Жюст вернулся в ратушу лишь в час пополудни и тут же, помня об обещании, которое он дал г-же Тейч, направил в тюрьму приказ привезти к нему Шарля.

Во время поездки Сен-Жюст промок с головы до ног и, когда юноша вошел в его кабинет, как раз заканчивал переодеваться и повязывал галстук.

Как известно, галстук был главной деталью туалета Сен-Жюста.

Это было настоящее сооружение из кисеи, над которым виднелось довольно приятное лицо; главное предназначение его заключалось в том, чтобы отвлекать внимание от непомерно развитых челюстей, обычно присущих хищным животным и завоевателям. Особенно поражали в его лице глаза, огромные, ясные, глубокие, с пристальным и вопрошающим взглядом; над ними нависли не дугообразные, а прямые брови, сходящиеся над переносицей всякий раз, когда он хмурился, охваченный нетерпением или тревогой.

Бледное лицо Сен-Жюста имело сероватый оттенок, как и у всех прилежных тружеников Революции: предчувствуя свою преждевременную смерть, они работали день и ночь, чтобы успеть завершить грозное дело, вверенное им духом, заботящимся о величии народов. Мы не решаемся назвать этот дух Провидением.

У Сен-Жюста были полные и дряблые губы – губы чувственного человека. (Начав свою литературную деятельность с непристойной книги, он с помощью невероятного усилия воли сумел обуздать собственный темперамент и заставить себя вести жизнь аскета.) Поправляя складки своего галстука и то и дело отбрасывая назад шелковистые пряди своей великолепной шевелюры, он беспрерывно диктовал секретарю приказы, постановления, законы и приговоры, которые не подлежали обжалованию или пересмотру и на двух языках – немецком и французском – вывешивались на стенах домов, расположенных на самых людных площадях, перекрестках и улицах Страсбург.

В самом деле, власть народных представителей, направленных в армию, была настолько безраздельной, абсолютной и привилегированной, что они уже не считали отрубленных ими голов, так же как крестьяне не считают скошенных травинки.

Краткость была отличительной чертой постановлений и законов Сен-Жюста; его голос, диктовавший их, был отрывистым, звонким и проникновенным. Впервые Сен-Жюст выступил в Конвенте с требованием предать суду короля, и при первых же словах его речи, резкой, холодной и острой, как стальной клинок, все слушатели как один затрепетали, охваченные странным волнением, и поняли, что король погиб.

Повязав галстук, Сен-Жюст резко повернулся, чтобы взять свой сюртук, и заметил ожидавшего юношу.

Он пристально посмотрел на него, видимо напрягая память, а затем неожиданно протянул руку к камину.

– А, это тебя арестовали вчера утром, – сказал Сен-Жюст, – и ты передал мне записку через хозяйку гостиницы, где ты проживаешь?

– Да, гражданин, – отвечал Шарль, – это я.

– Значит, люди, которые тебя арестовали, разрешили, чтобы ты мне написал?

– Я написал тебе заранее.

– Каким образом?

– Я знал, что меня арестуют.

– И ты даже не подумал спрятаться?

– Для чего?.. Я был невиновен, и к тому же говорят, что ты справедлив. Сен-Жюст, молча глядевший на мальчика, тоже казался очень юным в своей белейшей и тончайшей полотняной рубашке с широкими рукавами, в белом жилете с большими отворотами и с искусно повязанным галстуком.

– Твои родственники эмигрировали? – спросил он наконец.

– Нет, гражданин, мои родственники отнюдь не аристократы.

– Кто же они?

– Мой отец – председатель суда в Безансоне, мой дядя – командир батальона.

– Сколько тебе лет?

– Мне пошел четырнадцатый год.

– Подойди ко мне. Юноша повиновался.

– Клянусь честью, это правда: он похож на девочку! – сказал Сен-Жюст и, обратившись к Шарлю, спросил: – Но ведь ты что-то натворил, раз тебя арестовали?

– Двое моих земляков, граждане Дюмон и Баллю, приехали в Страсбург, чтобы потребовать освобождения генерал-адъютанта Перрена. Я узнал, что их должны арестовать ночью или на следующий день, и предупредил их запиской; мой почерк узнали; я же полагал, что поступаю правильно, и взываю к твоему сердцу, гражданин Сен-Жюст.

Сен-Жюст дотронулся до плеча юноши своей белой ухоженной рукой, похожей на женскую. – Ты еще ребенок, – сказал он, – поэтому я скажу тебе только одно: есть более святое чувство, чем любовь к землякам, – это патриотизм; мы прежде всего дети одной отчизны, а не граждане одного города. Придет день, когда разум восторжествует и человечество будет дороже родины, люди станут братьями, нации – сестрами и не будет других врагов, кроме тиранов. Ты уступил благородному чувству любви к ближнему, которому учит Евангелие; однако, поддавшись ему, ты забыл о более возвышенном, священном и благородном чувстве – о преданности отчизне, которая должна быть превыше всего. Если эти люди – враги своей родины, если они преступили закон, нельзя было вставать между ними и мечом правосудия; я не из тех, кто имеет право ставить себя в пример, ибо являюсь одним из покорнейших слуг свободы; я буду служить ей в меру своих возможностей, заставлю ее восторжествовать в меру своих сил или умру за нее – это единственное мое желание. Отчего я сегодня так спокоен и горд собой?

Оттого, что, хотя мое сердце обливалось кровью, я засвидетельствовал свое глубокое почтение закону, который я сам установил.

Он остановился на миг, желая убедиться, что мальчик слушает его внимательно; Шарль ловил каждое из слов, срывающихся с уст этого могущественного человека, как будто ему предстояло передать их потомкам.

Сен-Жюст продолжал:

– После постыдной паники Айземберга я вынес постановление, согласно которому каждому солдату, а также низшим и высшим офицерским чинам надлежит спать в одежде. Во время моей утренней поездки я радовался, что снова увижу одного своего земляка из департамента Эна; как и я, из Блеранкура, как и я, воспитанника суасонского коллежа; его полк вчера прибыл в селение Шильтигем. Итак, я примчался в эту деревушку и спросил, в каком доме остановился Проспер Ленорман. Мне указали этот дом, и я устремился туда; его комната располагалась на втором этаже, и, хотя я прекрасно умею обуздывать свои чувства, мое сердце подпрыгивало от радости, когда я поднимался по лестнице, – от радости, что я наконец увижу друга после пятилетней разлуки. И вот я вхожу в первую же комнату и зову:

«Проспер! Проспер! Где ты? Это я, твой товарищ Сен-Жюст».

Не успел я вымолвить эти слова, как дверь открывается и молодой человек в одной сорочке бросается в мои объятия с возгласом:

«Сен-Жюст! Мой дорогой Сен-Жюст!»

Я прижал его к своей груди, обливаясь слезами, ибо моему сердцу был нанесен страшный удар.

Мой друг детства, которого я не видел пять лет, тот, к кому я сам примчался, настолько мне не терпелось снова его увидеть, этот человек нарушил приказ, изданный мною три дня назад, и заслуживал смертную казнь. И тогда мое сердце покорилося силе моей воли и, в присутствии свидетелей этой сцены, я сказал спокойным голосом:

«Я воздаю Небесам двойную хвалу за то, что снова увидел тебя, мой дорогой Проспер, а также за то, что могу преподать другим урок повиновения закону и величественный пример справедливости, когда, пожертвовав дорогим мне человеком, приношу тебя в жертву общественному благу».

С этими словами я повернулся к тем, кто меня сопровождал.

«Исполните свой долг!», – приказал я им.

Снова, теперь уже в последний раз, я обнял Проспера, и по моему знаку его увели.

– Зачем? – спросил Шарль.

– Чтобы расстрелять. Разве не было запрещено под страхом смертной казни спать раздетым?

– Но ведь ты его помиловал? – спросил Шарль, взволнованный до слез.

– Десять минут спустя его не стало. Шарль вскрикнул от ужаса.

– Бедный ребенок, у тебя еще мягкое сердце; читай Плутарха, и ты станешь мужчиной.

Ах да! Что ты делаешь в Страсбург?

– Я учусь, гражданин, – ответил мальчик, – и приехал сюда всего лишь три дня назад.

– Чему же ты учишься в Страсбуре?

– Греческому.

– Мне кажется, что более логично изучать здесь немецкий язык; к тому же зачем тебе греческий, если лакедемоняне вообще ничего не написали?

С минуту он молчал, глядя на мальчика с любопытством, а затем снова спросил:

– И кто же этот ученый, что берется давать уроки греческого в Страсбуре?

– Евлогий Шнейдер, – отвечал Шарль.

– Как! Евлогий Шнейдер знает греческий? – удивился Сен-Жюст.

– Это один из первых эллинистов Германии, он перевел Анакреонта.

– Кёльнский капуцин! – воскликнул Сен-Жюст. – Евлогий Шнейдер – переводчик Анакреонта! Ну что ж, ладно! Ступай учить греческий у Евлогия Шнейдера... Если бы я знал, – продолжал он звенящим голосом, – что ты должен учиться у него чему-то другому, я велел бы тебя задушить.

Ошеломленный этим выпадом, мальчик замер, прижавшись к стене и слившись с фигурами украшавшего ее гобелена.

– О! – вскричал Сен-Жюст, распаяясь все сильнее, – такие вот торговцы греческим, как он, губят святое дело Революции. Именно они выносят постановления об аресте тринадцатилетних детей только потому, что эти дети живут в той же гостинице, где полиция выявила двух подозрительных приезжих, и таким образом эти мерзавцы хвастают тем, что заставляют любить Гору. Ах! Клянусь Республикой, что скоро положу конец проискам всех этих негодяев, которые изо дня в день покушаются на нашу драгоценнейшую свободу... Пора устроить показательный грозный суд, и я это сделаю. Они смеют попрекать меня тем, что я бросаю им слишком мало трупов на съедение, – я дам им больше. «Пропаганда» жаждет крови – она ее получит. И для начала я утоплю в крови ее собственных главарей. Пусть только случай предоставит мне благовидный предлог, пусть только закон будет на моей стороне – и они увидят!

Когда Сен-Жюст расставался со своей холодной невозмутимостью, он становился воплощением угрозы: его брови хмурились, ноздри раздувались, как у льва на охоте; его лицо делалось пепельным; казалось, он искал поблизости, кого бы или что бы сокрушить.

Тут в комнату поспешно вошел гонец, только что прискакавший верхом, что было нетрудно угадать по его одежде, забрызганной грязью, и, приблизившись к Сен-Жюсту, сказал ему шепотом несколько слов.

При этих словах лицо Сен-Жюста озарилось радостью, смешанной с недоверием; видно было, что новость, которую сообщил ему всадник, была настолько приятной, что он не решался поверить этому до конца.

### ХІІІ. СВАДЬБА ЕВЛОГИЯ ШНЕЙДЕРА

Сен-Жюст оглядел мужчину с головы до ног, точно опасаясь, что имеет дело с сумасшедшим.

- И вы прибыли... Как вы сказали? – спросил он.
- По поручению вашего коллеги Леба.
- Чтобы сообщить мне...

Мужчина снова понизил голос, так что Шарль не смог расслышать ни слова. Секретарь же давно ушел в типографию, захватив с собой новые постановления Сен-Жюста.

– Не может быть! – воскликнул проконсул, переходя от надежды к сомнению, настолько невероятной казалась ему полученная им новость.

– Тем не менее это так, – возразил посланец.

– Да он никогда не осмелится, – сказал Сен-Жюст, сжимая челюсти, и в его глазах промелькнула вспышка ненависти.

– Его «гусары смерти» завладели воротами и не дали их закрыть.

– Кельскими воротами?

– Кельскими воротами.

– Именно теми, которые обращены в сторону неприятеля?

– Да, именно теми самими.

– Невзирая на мое категорическое распоряжение?

– Невзирая на твое категорическое распоряжение.

– Какую же причину выдвинули гусары, чтобы помешать закрыть ворота в три часа, когда существует строгий приказ закрывать в этот час все ворота Страсбура и нарушителям грозит смертная казнь?

– Они сказали, что комиссар Республики возвращается в город через эти ворота вместе со своей невестой.

– Невеста Евлогия Шнейдера! Невеста Кёльнского капуцина!

Сен-Жюст огляделся по сторонам, явно отыскивая Шарля в сумраке, постепенно окутывавшем комнату.

– Если ты ищешь меня, гражданин Сен-Жюст, я здесь, – промолвил юноша, приближаясь к нему.

– Да, подойди сюда; ты слышал, что твой учитель греческого языка собирается жениться?

В тот же миг юноша вспомнил случай с мадемуазель де Брэн.

– Рассказ о моих предположениях занял бы слишком много времени.

– Нет уж, расскажи, – сказал Сен-Жюст со смехом, – мы никуда не спешим.

И Шарль поведал об обеде у Евлогия, упомянув эпизод с девушкой и палачом.

На протяжении этого рассказа голова Сен-Жюста оставалась неподвижной, но весь он был охвачен лихорадочным волнением.

Внезапно послышался сильный шум на одной из улиц, ведущей от Кельских ворот к ратуше.

Сен-Жюст несомненно догадался о причине шума, ибо сказал Шарлю:

– Ты волен уйти, дитя мое, но если ты хочешь присутствовать при великом акте правосудия, оставайся.

Любопытство не позволило Шарлю уйти, и он остался. Гонец подошел к окну и отдернул штору.

– Эй! Смотрите, – вскричал он, – вот доказательство, что я не ошибся: он здесь!

– Открой окно, – приказал Сен-Жюст.

Гонец повиновался; окно выходило на балкон, нависавший над улицей. Сен-Жюст вышел на балкон; по его знаку Шарль и гонец последовали за ним.

Пробили башенные часы, и Сен-Жюст обернулся: было ровно четыре часа. Кортёж въезжал на площадь.

Четверо скороходов в одеждах национальных цветов бежали перед открытой, несмотря на хмурую погоду, коляской Шнейдера, которую тянули шесть лошадей; сам жених и его роскошно одетая, сияющая молодостью и красотой невеста сидели в глубине кареты, а черные всадники, «гусары смерти» – неизменный его эскорт – с саблями наголо гарцевали вокруг экипажа, отгоняя ударами плашмя, во имя равенства и братства, зевак, подходивших слишком близко к жениху и невесте; вслед за ними тащилась низкая красная повозка с огромными колесами и двумя запряженными лошадьми, разукрашенными трехцветными лентами; она везла доски, перекладки и ступени, также красного цвета; повозкой правили двое мужчин злоеющего вида, в черных блузах и алых колпаках с широкой кокардой; они перебрасывались с «гусарами смерти» мрачными шутками. Наконец, в хвосте кортежа ехала небольшая двуколка, а в ней сидел худой, бледный и серьезный человек; зеваки с любопытством указывали на него пальцами, боязливо шепча друг другу на ухо лишь два слова:

– Метр Никола!

Вся эта сцена была залита светом факелов: их несли мужчины, выстроенные в две шеренги.

Шнейдер собирался представить свою невесту Сен-Жюсту, который, как нам уже известно, вышел на балкон, чтобы встретить комиссара.

Спокойный, суровый и невозмутимый, как статуя Правосудия, Сен-Жюст отнюдь не пользовался популярностью. Его боялись и уважали.

Когда собравшиеся внизу люди увидели его на балконе – в костюме народного представителя, в шляпе с плюмажем, с трехцветным поясом и саблей на боку, которую он умел пускать в ход при случае, когда оказывался перед лицом врага, не раздалось приветственных возгласов; лишь робкий шепот пробежал по рядам; затем толпа подалась назад, оставляя свободным большой освещенный круг, куда въехала карета с женихом и невестой, повозка с гильотиной и двуколка с палачом.

Сен-Жюст махнул рукой, призывая всех умолкнуть, и люди, как уже было сказано, не только замолчали, но и попятились назад.

Все решили, что Сен-Жюст первым возьмет слово; в самом деле, после повелительного жеста, исполненного царственного достоинства, он собрался заговорить, но вдруг, к величайшему изумлению зрителей, девушка быстрым движением открыла дверцу кареты, спрыгнула на землю, закрыла дверцу и, став на мостовой на колени, вскричала посреди торжественной тишины:

– Правосудия, гражданин! Я требую его у Сен-Жюста и Конвента!

– Против кого ты выступаешь? – спросил Сен-Жюст звенящим резким голосом.

– Против этого человека, против Евлогия Шнейдера, против чрезвычайного комиссара Республики.

– Говори, что он сделал? – спросил Сен-Жюст. – Правосудие слушает тебя.

И тогда взволнованным голосом, но уверенно и громко девушка рассказала о своей страшной драме, о смерти матери, об аресте отца, об эшафоте, установленном перед ее домом, о предложенном ей выборе, и при каждой ужасной подробности, в которую, казалось, с трудом верили слушатели, она призывала в свидетели то палача, то его подручных, то «гусаров смерти», то, наконец, самого Шнейдера, и каждый, к кому она обращалась, отвечал:

– Да, это правда!

Исключение составлял ошеломленный Шнейдер, съжившийся, словно ягуар перед прыжком, но тоже подтвердивший ее слова своим молчанием.

Сен-Жюст, кусая пальцы, выслушал ее до конца и сказал:

– Ты требовала справедливости, гражданка Клотильда Брэн, и ты ее получишь. Но скажи, что бы ты сделала, если бы я не был расположен вершить суд?

Девушка достала спрятанный на груди кинжал.

– Я бы заколола его сегодня вечером в постели, – сказала она, – Шарлотта Корде научила нас обращаться с Маратами! А теперь, – прибавила она, – теперь, когда я вольна удалиться, чтобы оплакивать свою мать и утешать своего отца, я прошу тебя помиловать этого человека.

При словах «помиловать этого человека» Сен-Жюст вздрогнул, как будто его ужалила змея.

– Помиловать его? – вскричал он, стукнув кулаком по перилам балкона. – Помиловать этого мерзавца? Помиловать Кёльнского капуцина? Ты шутишь, девушка; если бы я это сделал, Правосудие расправило бы свои крылья и улетело бы от нас навсегда. Помиловать?!

И его голос прогремел со страшной силой, так что было слышно повсюду:

– На гильотину его!

Бледный, худой и серьезный человек спустился со своей двуколки, встал под балконом, снял шляпу и поклонился.

– Должен ли я отрубить ему голову, гражданин Сен-Жюст? – смиренно спросил он.

– К несчастью, я не имею на это права, – отвечал Сен-Жюст, – не то через четверть часа человечество было бы отомщено, однако судьба чрезвычайного комиссара Республики зависит от Революционного трибунала, а не от меня. Нет, пока пусть его подвергнут наказанию, которое он сам придумал: привяжите его к гильотине; сейчас – позор, а позже – смерть!

И величественным жестом он протянул руку в сторону Парижа.

Затем, исполнив до конца свою роль в этой драме, он подтолкнул вперед гонца, принесшего ему весть о том, что его распоряжения были нарушены, а также маленького Шарля, которому он только что вернул свободу, свершив тем самым другой акт справедливости, закрыл окно и положил руку на плечо мальчика со словами:

– Никогда не забывай о том, что сейчас видел, и если когда-нибудь кто-то скажет при тебе, что Сен-Жюст не друг Революции, свободы и справедливости, скажи в полный голос, что это неправда. А теперь ступай куда хочешь, ты свободен!

В порыве юношеского восхищения Шарль попытался схватить руку Сен-Жюста и поцеловать ее, но тот живо отдернул ее, наклонился к мальчику и, приблизив его голову к своим губам, поцеловал его в лоб.

Сорок лет спустя Шарль, будучи уже зрелым мужчиной, говорил мне, рассказывая эту историю и побуждая меня написать на основе ее книгу, что все еще хранит в памяти ощущение поцелуя, который запечатлел на его челе Сен-Жюст.

Дорогой Шарль! Всякий раз, когда вы давали мне подобный совет, я следовал ему, и ваш дух, витавший надо мной, приносил мне счастье.

## XIV. ПОЖЕЛАНИЯ

Спускаясь по лестнице, Шарль мог охватить взглядом всю сцену с высоты крыльца ратуши.

Мадемуазель де Брэн исчезла, поспешив укрыться в надежном месте и успокоить отца.

Двое мужчин в красных колпаках и черных блузах установили эшафот с проворством, свидетельствующим о том, что эта работа была для них привычной.

Метр Никола держал за руку Шнейдера, который отказывался выйти из экипажа; увидев это, двое «гусаров смерти» обогнули коляску и, подойдя к открытой дверце с другой стороны, принялись колотить осужденного остриями своих сабель.

Шел ледяной дождь со снегом, холод пронизывал сквозь одежду, и тем не менее Шнейдер вынужден был вытирать платком струящийся со лба пот.

По дороге к гильотине с него прежде всего сняли шляпу, так как она была украшена трехцветной кокардой, а затем – сюртук, поскольку он был военного образца; холод и ужас одновременно овладели несчастным, который дрожал всем телом, поднимаясь по ступенькам эшафота.

И тут со всех концов площади грянул оглушительный крик, казалось, принадлежавший одному человеку, хотя его исторгали десятки тысяч уст.

– Под нож! Под нож!

– Господи, – бормотал Шарль, прислонившись к стене; он весь трепетал от волнения, но неодолимое любопытство удерживало его на месте, – неужели они его убьют? Неужели они его убьют?

– Нет, успокойся, – отозвался чей-то голос, – на сей раз он отделается одним испугом, хотя было бы неплохо покончить с ним сразу.

Этот голос показался Шарлю знакомым; он повернул голову и узнал старшего сержанта Ожеро.

– Ах! – вскричал он, охваченный радостью; можно было подумать, что он сам ускользнул от опасности, – ах, это ты, мой храбрый друг? А где же Эжен?

– Жив и здоров, как и ты; мы вернулись в гостиницу вчера вечером и узнали о твоём аресте. Я побежал в тюрьму – ты был еще там; вернулся туда в час – ты был по-прежнему там. В три часа я узнал, что Сен-Жюст послал за тобой, и решил ждать, не сходя с места, пока ты не выйдешь, так как был уверен, что он не съест тебя, черт возьми! Внезапно я увидел тебя в окне рядом с ним; казалось, что вы поладили между собой, и я успокоился. И вот, наконец, ты свободен!

– Как ветер.

– Ничто больше не удерживает тебя здесь?

– Я хотел бы вообще здесь больше не появляться.

– Я с тобой не согласен. Мне кажется, что совсем не плохо быть другом Сен-Жюста; мне кажется, это даже лучше, чем быть другом Шнейдера, потому что именно Сен-Жюст сейчас неоспоримо сильнее всех. Что касается Шнейдера, ты еще не успел проникнуться к нему нежными дружескими чувствами и, стало быть, потеряв его, вероятно, не будешь вечно скорбеть. То, что произошло сегодня вечером, послужит уроком Тетрелю, который, впрочем, еще не подавал признаков жизни, но нельзя оставлять ему время отыграться.

В это время послышались крики «Ура!» и «Браво!».

– Господи, что там еще? – спросил Шарль, пряча лицо на груди учителя фехтования.

– Ничего, – ответил Ожеро, вставая на цыпочки, – ничего, просто они привязывают Шнейдера под ножом гильотины, так же как по его приказанию привязывали вчера мэра и

заместителя мэра Эшо; настал и его черед! Слишком большое счастье, дружок, спуститься с высоты, на которую забрался, не потеряв головы.

– Ужасно! Ужасно! – прошептал Шарль.

– Да, ужасно, но мы видим такое и еще похуже каждый Божий день; попросайся же тихо со своим почтенным наставником, которого, видимо, ты больше не увидишь, поскольку, когда он спустится со своего помоста, ему придется отбыть в Париж, где я не желаю ему совершить новое восхождение. Ну, пошли ужинать, ведь ты, ей-Богу, умираешь с голоду, бедный мальш!

– Я и не думал об этом, – сказал Шарль, – но, в самом деле, раз ты навел меня на эту мысль, я должен признаться, что завтракал уже давно.

– Тем более надо поспешить в гостиницу «У фонаря».

– Пойдем же.

Шарль в последний раз оглядел площадь.

– Прощай, бедный друг моего отца, – прошептал он, – когда он посылал меня к тебе с рекомендацией, он думал, что ты все еще тот добрый ученый монах, которого он когда-то знал. Он не подозревал, что ты стал кровожадным фавном, каким ты предстал передо мной, и что дух Божий отвернулся от тебя. Quos vult perdere Jupiter dementat <sup>note 7</sup>... Пойдем!

И теперь уже мальчик повел Пьера Ожеро в сторону гостиницы «У фонаря».

Два человека с тревогой ожидали возвращения Шарля. Это были г-жа Тейч и Эжен.

Госпожа Тейч, пользуясь правом женщины и правом хозяйки, первой завладела Шарлем и, лишь вдоволь наглядевшись на него, чтобы убедиться, что это именно он, осыпав его множеством поцелуев, чтобы убедиться, что перед ней не призрак, передала его Эжену.

Дружеские изъявления чувств молодых людей были менее бурными, но столь же нежными; ничто так не сближает людей, как пережитые вместе опасности, и, благодаря Богу, с тех пор как мальчики познакомились, события, следовавшие чередой, скрепили узы их дружбы столь же крепко, как у героев древности.

Их дружба усиливалась также от сознания того, что вскоре им придется расстаться. Эжену, кстати, уже почти закончившему свои розыски, было небезопасно задерживаться в Страсбург из-за возможной мести Тетреля: тот мог еще некоторое время таить в себе нанесенное ему оскорбление, но наверняка не мог его забыть.

Шарлю же не было смысла оставаться в Страсбуре после того, как там не стало Евлогия Шнейдера, поскольку мальчик приехал именно для того, чтобы учиться под его руководством.

Итак, Эжен собирался вернуться в Париж, где мать и сестра добивались освобождения его отца, а Шарль с помощью второго письма, полученного от отца, собирался пройти у Пишегрю солдатскую школу, вместо того чтобы учиться премудрости у Евлогия Шнейдера.

Было решено, что мальчики отправятся – каждый в свой путь – на следующий день, на рассвете.

Это решение приводило в отчаяние славную г-жу Тейч, которая по воле случая обрела небольшую семью и любила мальчиков, по ее словам, как собственных детей. Однако она была слишком благоразумной, чтобы пытаться не только удержать их, но даже отсрочить их отъезд, по ее мнению необходимый и, главное, неотложный.

Таким образом, узнав о планах юношей, она дала свое согласие на их отъезд, но с одним условием: они должны были отужинать в ее доме последний раз.

Это предложение было принято, и добрая г-жа Тейч, к которой молодые люди относились если не как к матери, то, по крайней мере, как к подруге, получила радушное приглашение присоединиться к их трапезе; это так взволновало ее, что она немедленно отдала главному повару строгое распоряжение приготовить превосходный ужин, а сама поднялась к себе в комнату, чтобы выбрать в своем гардеробе самый элегантный наряд.

Поскольку приготовления к ужину и особенно переодевание г-жи Тейч требовали полу-часовой задержки, было решено, что мальчики посвятят это время сборам в дорогу.

Дилижанс, следующий в Париж, где было заказано место для Эжена, отправлялся на рассвете; Шарль намеревался проводить своего друга до дилижанса, а затем отправиться в Ауэнхайм, где располагался штаб Пишегрю.

Ауэнхайм находился в восьми льё от Страсбург.

Это была одна из восьмидесяти крепостей, что были раскиданы вокруг Страсбург подобно часовым, охранявшим безопасность наших границ.

Шарлю следовало хорошо выспаться перед столь трудным днем.

Поэтому г-жа Тейч и предложила юношам уложить свои бумага и собрать вещи, прежде чем садиться за стол, чтобы у них осталось больше времени для сна.

Тем временем Ожеро отправился в свою казарму предупредить, что будет ужинать в городе и вернется поздно ночью, если вообще вернется.

Ожеро как учитель фехтования пользовался множеством привилегий, которых были лишены другие парижские волонтеры, но и те тоже, в отличие от прочих солдат, пользовались некоторыми льготами.

Мальчики оставили дверь, соединявшую их номера, открытой; таким образом, они могли продолжать разговор, находясь в разных комнатах.

Каждый из них, перед тем как расстаться с другом, обдумывал свое будущее и строил планы в зависимости от того, каким оно ему виделось.

– Что до меня, – говорил Эжен, сортируя свои бумаги, – то мой путь уже предначертан. Я всегда буду только солдатом; я очень плохо знаю латынь и питаю к ней глубокое отвращение, не говоря о греческом, из которого я не знаю ни единого слова; зато пусть мне дадут любую лошадь, и я оседлаю ее; я бью без промаха с двадцати шагов, и Ожеро говорил уже тебе, что я не побоюсь сразиться на шпагах или саблях с кем угодно. Как только я слышу звук барабана или трубы, мое сердце начинает биться сильнее и кровь приливает к лицу. Я наверняка буду солдатом, как отец. Кто знает, может быть, и генералом, подобно ему. Как прекрасно быть генералом!

– Да, – ответил Шарль, – но посуди, к чему это приводит; посмотри на своего отца, ты ведь уверен, что он невиновен, не так ли?

– Разумеется, уверен.

– Ну, а ему, как ты говорил, грозит ссылка или даже смерть?

– Ба! Разве Фемистокл, участвовавший в Марафонской битве и победивший в битве у Саламина, не умер в изгнании? Незаслуженная ссылка превращает генерала в героя; смерть, настигая невинного, превращает героя в полубога. Разве ты не хотел бы быть Фокионом, рискуя выпить чашу с цикутой, подобно ему?

– Цикута цикуте рознь, – сказал Шарль, – я предпочел бы цикуту Сократа – вот мой герой.

– Ах! Я его тоже не отвергаю; он начинал как солдат, спас жизнь Алкивиаду в Потидее и Ксенофонту – в Делиуме. Тому, кто спасал жизнь своему близкому, Шарль, римляне вручали самый красивый венок из дубовых листьев.

– Спасти жизнь двух человек и погубить, возможно, шестьдесят тысяч жизней, как Фокион, которого ты только что упомянул, в сорока пяти сражениях, где он участвовал, – ты полагаешь, это равный счет?

– Да, клянусь честью, если эти двое – Алкивиад и Ксенофонт.

– Я не настолько честолюбив, как ты, – сказал Шарль со вздохом, – ты хочешь быть Александром, Сципионом или Цезарем, я же был бы доволен, став если не Вергилием – есть только один Вергилий, и другого уже не будет, – то хотя бы Горацием, Лонгином и даже Апулеем. Тебе нужен бивак, армия, кони, палатки, яркие мундиры, барабаны, горны, трубы, военные марши, треск выстрелов и грохот пушек; меня же вполне устраивает aurea mediocritas <sup>note</sup>  
<sup>8</sup> поэта: маленький домик, полный друзей, большая библиотека, полная книг, жизнь, проходя-

щая в трудах и мечтаниях, а в конце – смерть праведника – это даже больше того, что я прошу у Бога. Ах, если бы только я знал греческий!

– Но ведь ты направляешься к Пишегрю, чтобы стать со временем его адъютантом!

– Нет, для того, чтобы сразу же стать его секретарем; ну вот, моя сумка заполнена.

– И мой чемодан собран.

Эжен прошел в комнату Шарля.

– Ах, – сказал он, – какой же ты счастливеец, ты знаешь предел желанием, и, по крайней мере, у тебя есть возможность достичь своей цели, а вот я...

– Разве ты не считаешь, что мое честолюбие столь же велико, как твое, дорогой Эжен, и стать Дидро не менее трудно, чем маршалом Саксонским, или Вольтером – не легче, чем господином де Тюренном? По правде говоря, я не стремлюсь быть ни Дидро, ни Вольтером.

– Как и я – маршалом Саксонским.

– Все равно, пожелаем этого друг другу.

В тот же миг послышался голос Пьера Ожеро, стоявшего у подножия лестницы:

– Идите сюда, молодые люди! Стол уже накрыт!

– Пойдемте, господин ученый, – сказал Эжен.

– Пошли, гражданин генерал! – отозвался Шарль. Это был тот редкий случай, когда оба хотели того, что было уготовано им Богом, и желали себе того, что было предназначено им Провидением.

В заключение скажем еще несколько слов об ужасных событиях этого дня, после чего вернемся к нашим юным друзьям.

В шесть часов вечера почтовая карета, снаряженная в путь, подъехала к гильотине, к перекладинам которой был привязан Евлогий Шнейдер. Сидевшие в ней жандармы сошли на землю, отвязали Шнейдера, втокнули его в карету и усадили между собой. Затем почтовая карета понеслась во весь опор по дороге в Париж.

Двенадцатого жерминаля II года Республики (1 апреля 1794 года) Евлогий Шнейдер из Випефельда был обезглавлен согласно приговору Революционного трибунала за то, что посредством взяток и безнравственных, жестоких поступков, путем возмутительнейших бесчеловечных злоупотреблений именем и властью революционной комиссии он притеснял, грабил и убивал, лишал состояния и спокойствия многие мирные семейства.

Несколько дней спустя на тот же эшафот взошли поэт-сапожник Юнг, музыкант Эдельман и бывший префект безансонского коллежа Монне.

Из пяти голов, которые возвышались над столом Евлогия Шнейдера в день достопамятного обеда, во время которого мадемуазель де Брэн добивалась помилования своего отца, четыре месяца спустя лишь голова Шарля осталась на плечах.

#### XV. ГРАФ ДЕ СЕНТ-ЭРМИН

Ужин был превосходным, а ночь прошла еще лучше. Ожеро не стал возвращаться в казарму, то ли не желая беспокоить товарищей по общей спальне, то ли чтобы проводить своих друзей.

На следующее утро, в шесть часов, у дверей гостиницы «У фонаря» остановилась двуколка.

Госпожа Тейч заявила, что ее бедный малютка Шарль не настолько крепок, чтобы проделать восемь льё за один день, и, следовательно, она и старший сержант Ожеро проводят его до Бишвиллера, что составляло более двух третей пути.

Они пообедают в Бишвиллере, и, поскольку от этого маленького городка до Ауэнхайма всего лишь два с половиной льё, Шарль проделает этот путь пешком.

Как уже было сказано, в Ауэнхайме была расположена ставка главнокомандующего.

По пути двуколка должна была подвезти Эжена к парижскому дилижансу, которому требовалось в ту пору четыре дня и две ночи, чтобы добраться из Страсбура до столицы.

Госпожа Тейч и Ожеро уселись в глубине кареты, Шарль с Эженом – впереди, Соня занял место на скамье, и экипаж тронулся в путь.

Двуколка, как было решено, остановилась на почтовой станции, где стоял дилижанс, уже запряженный и собиравшийся отправляться. Эжен покинул двуколку; Шарль, г-жа Тейч и сержант, не желавшие расставаться с ним до последнего мига, тоже сошли на землю вслед за ним; пять минут спустя возница призвал пассажиров занять места и Эжен расцеловал всех по очереди. Госпожа Тейч набивала ему карманы лепешками. Шарль со слезами пожимал его руку, Ожеро в сотый раз объяснял ему тайный прием, который он узнал от лучшего в Неаполе учителя фехтования. Наконец им пришлось расстаться; Эжен скрылся в недрах необъятного экипажа, дверца закрылась, лошади тронулись; из-за дверцы показался профиль Эжена и послышался крик «Прощайте!»; затем дилижанс стал удаляться по одной из улиц и вскоре скрылся из вида; еще несколько мгновений слышался постепенно стихавший скрип колес, звон бубенчиков и щелканье бича кучера, а затем наступила тишина.

Нет ничего печальнее расставания: кажется, что те, кто не уехал, остались не по своей воле, а были брошены. Госпожа Тейч, Ожеро и Шарль грустно переглянулись.

– Вот он и уехал, – сказал Шарль, утирая слезы.

– И через два часа придет твой черед, бедный малютка

Шарль, – промолвила гражданка Тейч.

– Ба! – вскричал Ожеро, не падавший духом, – только гора с горой не встречаются, как гласит пословица, а человек с человеком еще встретятся.

– Увы! – вздохнула г-жа Тейч, – в пословице имеются в виду мужчины, а не женщины.

Все снова сели в двуколку. Преодолев героический отпор Шарля, г-жа Тейч усадила его к себе на колени и принялась осыпать поцелуями, часть которых предназначалась уехавшему Эжену; Ожеро набил свою трубку табаком и закурил; они разбудили Коклеса: за это время он успел заснуть, чтобы не совсем утратить свое право на прежнее прозвище.

Двуколка отправилась в путь, но у ворот города маршрут был изменен; стражник, у которого спросили, по какой дороге быстрее и легче можно добраться до Ауэнхайма – в Бишвиллер или в Оффендорф, – ответил, что раздумывать тут нечего: путь в Бишвиллер пролегает по проселочной дороге, а в Оффендорф ведет королевская дорога.

Поэтому они избрали путь в Оффендорф. Это прелестная дорога вьется вдоль берега Рейна; проезжая по ней, все время видишь острова разнообразнейшей формы посреди этой столь величественной полноводной реки; в Оффендорфе дорога подходит к ней совсем близко.

Путники сделали короткий привал, чтобы дать передохнуть лошадям и узнать, где можно хорошо пообедать; свежий утренний воздух и ветерок, стряхивавший со своих крыльев иней, пробудили у них аппетит.

Их направили в Ровиллер.

Час спустя они остановились у гостиницы «Золотой лев» и спросили, какое расстояние отделяет Ровиллер от Ауэнхайма.

Между ними было всего лишь три льё – это расстояние хороший ходок может проделать за два часа с четвертью.

Шарль заявил, что не позволит провожать себя дальше: ему и так будет стыдно, когда, придя к Пишегрю, он скажет, что прошел пешком лишь три льё. Что же будет, если его довезут до самого Ауэнхайма? Он просто сторит со стыда!

Возможно, будь г-жа Тейч одна, она стала бы настаивать, но старший сержант стремился остаться с ней наедине, имея на то, несомненно, веские основания, и поддержал Шарля.

Часы показывали половину одиннадцатого; они заказали завтрак и решили, что расстанутся в полдень: мальчик продолжит путь в Ауэнхайм, а Пьер Ожеро, гражданка Тейч и Соня вернутся в Страсбур.

Сначала завтрак проходил печально; однако в характере старшего сержанта не было ни малейшей склонности к меланхолии, и мало-помалу рейнские и мозельские вина развеселили сотрапезников.

Они выпили за продвижение Ожеро по службе, за доброе здоровье г-жи Тейч, которой нельзя было пожелать лучшего здоровья, чем сейчас, а также за благополучное возвращение Эжена, за благоприятный исход процесса его отца и за будущее Шарля, после чего всеобщая грусть окончательно развеялась и уступила место беспредельной вере в Провидение.

Никто не верил больше ни в прежнего Бога, разжалованного, ни в нового, только что назначенного: Всевышний был слишком старым, а Верховное Существо – слишком молодым.

Провидение, о котором не подумали разрушители алтарей, заменило собой все и вся.

Часы пробили полдень.

Старший сержант первым поднялся из-за стола.

– Слово честных людей – закон, – сказал он, – мы решили, что простимся в полдень, и этот час настал; впрочем, просиди мы вместе еще целый час и даже два, все равно придется расставаться; сделаем же это немедленно. Ну, Шарль, мой мальчик, покажи, что ты мужчина.

Шарль молча вскинул на плечи свой ранец, взял в одну руку дорожный посох, шляпу – в другую, поцеловал учителя фехтования, а затем г-жу Тейч, попытался поблагодарить ее, но от волнения слова застряли у него в горле.

Он мог лишь прокричать ей «До свидания!», сунул в руку Коклеса двадцатифранковый ассигнат и устремился вперед, направляясь к большой дороге.

Пройдя шагов пятьдесят, он обернулся, поскольку в этом месте улица делала поворот, и увидел, что гражданка Тейч и сержант Ожеро поднялись в номер второго этажа, окно которого выходило на ауэнхаймскую дорогу.

Опасаясь, что силы ее покинут, славная хозяйка гостиницы «У фонаря» опиралась на руку бравого сержанта. Другой рукой она махала Шарлю платком.

Шарль достал из кармана носовой платок и помахал г-же Тейч в ответ. Когда окно скрылось за поворотом, он вернулся назад, чтобы в последний раз махнуть своим друзьям на прощанье.

Однако окно было уже закрыто, и занавески были столь тщательно задернуты, что невозможно было разглядеть, находятся г-жа Тейч и Ожеро еще в комнате или уже спустились вниз.

Шарль тяжело вздохнул, ускорил шаг и вскоре вышел за пределы поселка. Стояла середина декабря; зима была суровой. В течение трех дней шел снег, что не было заметно в городе, так как он тут же таял. Но в пустынной сельской местности, где снег топчут лишь редкие прохожие, лежали целые сугробы, затвердевшие на десятиградусном морозе. Дорога искрилась; казалось, что ночь расстелила у ног путников белый бархатный ковер, усыпанный серебряными блестками. Деревья со свисающими с них сосульками напоминали гигантские хрустальные люстры. Птицы озабоченно облетали дороги в поисках привычной пищи, которую посылает им Бог, но за эти три дня все было засыпано снегом; нахохлившись, они дрожали и казались вдвое толще обычного; садясь на гибкие ветви или взлетая с них, птицы раскачивали ветви, и с них сыпался алмазный дождь.

Шарль, ставший впоследствии столь восприимчивым к красоте природы и описывавший ее с таким неподражаемым мастерством, почувствовал, как его грусть развеялась на фоне живописных пейзажей; впервые с гордостью ощутив себя свободным душой и телом, он входил с этим чувством в большой мир и шагал без усталости, не разбирая дороги.

Он уже проделал почти три четверти пути, когда за Сесенемом его догнал небольшой отряд пехотинцев численностью примерно в двадцать человек; во главе его верхом, покуривая сигару, ехал капитан.

Эти двадцать человек шагали в две шеренги.

Какой-то кавалерист (это было нетрудно определить по его сапогам со шпорами) шел, как и Шарль, посреди дороги. На нем был длинный, до пят, белый плащ. Его юное умное лицо, по-видимому, всегда хранило веселое и беззаботное выражение. Форменный головной убор юноши имел необычный для французской армии фасон.

Увидев Шарля, шагавшего бок о бок с молодым человеком в белом плаще, капитан окинул его взглядом и, заметив, как он молод, доброжелательно обратился к мальчику:

– Куда ты так спешишь, юный гражданин?

– Капитан, – ответил Шарль, сочтя своим долгом дать более пространное объяснение, чем требовалось, – я иду из Страсбург в штаб гражданина Пишегрю, в Ауэнхайм; очень еще далеко до него?

– Примерно двести шагов, – откликнулся молодой человек в белом плаще, – глядите, в конце этой обсаженной деревьями улицы, на которую мы только что вышли, начинаются первые дома Ауэнхайма.

– Спасибо, – ответил Шарль, собираясь ускорить шаг.

– Право, мой юный друг, – продолжал молодой человек в белом плаще, – если вы не слишком спешите, вам следовало бы проделать этот путь вместе с нами, чтобы я успел спросить вас о том, что нового в наших краях.

– В каких краях, гражданин? – спросил удивленный Шарль, впервые вглядываясь в это красивое благородное лицо, слегка омраченное грустью.

– Ну как же! – ответил тот, – ведь вы из Безансона или, по крайней мере, из Франш-Конте; разве можно скрыть наш местный выговор? Я тоже из Франш-Конте и горжусь этим.

Шарль задумался; молодой человек, по выговору узнавший, откуда он родом, пробудил в нем одно школьное воспоминание.

– Ну, – спросил юноша, – разве вы хотели сохранить инкогнито?

– Отнюдь нет, гражданин, просто я вспомнил, что Теофраст, которого первоначально звали Тиртамом и которого, как видно по его имени, жители Афин прозвали «красноречивым», прожил пятьдесят лет в Афинах, но одна зеленщица, тем не менее, определила по его выговору, что он родом с острова Лесбос.

– Вы образованный человек, сударь, – с улыбкой сказал молодой человек, – по нынешним временам это редкость.

– Отнюдь нет, ибо я направляюсь к генералу Пишегрю, а он весьма образован; я стремлюсь поступить к нему в секретари благодаря настоятельной рекомендации. А ты, гражданин, служишь в армии?

– Нет, не совсем.

– Но ты, – спросил Шарль, – каким-то образом связан со штабом?

– Связан! – засмеялся юноша. – Прекрасно сказано! Только я не связан со штабом, я связан с самим собой.

– Послушайте! – продолжал Шарль, понизив голос, – вы обращаетесь ко мне на «вы» и называете меня сударем во весь голос; не боитесь ли вы лишиться из-за этого места?

– Ах! Послушайте, капитан, – со смехом вскричал молодой человек, – этот юный гражданин опасается, как бы, обращаясь к нему на «вы» и называя его сударем, я не навредил себе и не лишился места! Вы думаете, что кто-нибудь жаждет занять мое место? Я бы тут же уступил его, если бы такой человек нашелся!

Капитан посмотрел на него с печальной улыбкой, пожав плечами, и Шарлю показалось, что он пробормотал: «Бедняга!»

– Скажите, – продолжал молодой человек в белом плаще, – вы из Безансона... ведь мы решили, что вы оттуда, не так ли?

– Я этого не скрываю, – отвечал Шарль.

– Вы, должно быть, знаете там семейство Сент-Эрмин.

– Да, я знаю главу этого семейства, вдову, а муж ее был гильотинирован восемь месяцев тому назад.

– Так оно и есть, – ответил молодой человек в плаще, поднимая глаза к небу. – У нее трое сыновей.

– Да, трое сыновей... Пока еще трое! – пробормотал он со вздохом.

– Старший, граф де Сент-Эрмин, эмигрировал, а два его младших брата остались; одному из них – лет двадцать, а другому – лет четырнадцать-пятнадцать.

– Благодарю вас; как давно вы уехали из Безансона?

– Еще и недели не прошло.

– Значит, вы можете сообщить мне последние новости об этом семействе?

– Да, но они очень печальны.

– И все-таки расскажите.

– Накануне моего отъезда мы с отцом присутствовали на похоронах графини.

– Ах! – воскликнул юноша так, как если бы ему нанесли неожиданный удар, – значит, графиня умерла?

– Да.

– Ах! Тем лучше, – сказал он со вздохом, поднимая к небу глаза, и по его щекам скатились вниз две крупные слезы.

– Что это значит «тем лучше»? – воскликнул Шарль.

– Да, – ответил юноша, – тем лучше, что она умерла от болезни, а не от горя, узнав, что ее сына расстреляли!

– Как, графа де Сент-Эрмина расстреляли?

– Еще нет, но скоро расстреляют.

– Когда же?

– Когда мы дойдем до крепости Ауэнхайм; я думаю, что там обычно совершаются все казни.

– Значит, граф де Сент-Эрмин находится в крепости Ауэнхайм?

– Еще нет, но его туда ведут.

– И его расстреляют?

– Как только я туда приду.

– Стало быть, вам поручено его казнить?

– Нет, но я надеюсь, что мне позволят приказать открыть огонь; в такой милости не отказывают храброму солдату, взятому с оружием в руках, будь он даже эмигрантом!

– О Господи! – вскричал Шарль, начиная догадываться, в чем дело, – неужели...

– Именно так, мой юный друг; вот почему я смеялся, когда вы советовали мне соблюдать осторожность, и вот почему я предлагал мое место тому, кто хотел бы его занять, ибо мне было не страшно его потерять; как вы сказали, я связан!

Поведя плечами, он приподнял плащ и показал мальчику скрученные чем-то кисти рук, связанных сзади.

– Значит, – вскричал Шарль, отпрянув от него в испуге, – это вы?..

– Граф де Сент-Эрмин, юноша. Вы видите, что я был прав, когда говорил вам, что моей бедной матушке лучше было умереть.

– О! – воскликнул Шарль.

– К счастью, – продолжал граф, стиснув зубы, – мои братья живы!

## XVI. ШАПКА

Шарль глядел на эмигранта с крайним изумлением.

Как! Этот столь юный, красивый и спокойный офицер вскоре должен был умереть!

Значит, существуют люди, которые идут на смерть с улыбкой!

Он видел только одного человека, который готовился умереть: то был Шнейдер, привязанный к гильотине по приказу Сен-Жюста.

Лицо этого человека было обезображено ужасом, а ноги подкашивались, и его пришлось нести вверх по ступенькам эшафота.

Граф де Сент-Эрмин, напротив, казалось, собрал перед смертью, в последний час, все свои жизненные силы: он шагал легкой походкой, с улыбкой на устах.

Шарль придвинулся к нему.

– Неужели нет никакой возможности вас спасти? – спросил он тихим голосом.

– По правде сказать, я не знаю; если бы я знал о такой возможности, я бы ее использовал.

– Ради Бога, простите, что я растерялся, я не предполагал, что...

– Придется проделать путь в столь дурном обществе.

– Я хотел бы спросить вас... Юноша замялся.

– Спросить о чем?

Шарль понизил голос еще на полтона.

– Не могу ли я что-нибудь для вас сделать?

– Разумеется, вы можете что-нибудь для меня сделать; с тех пор как я вас увидел, я вынашиваю одну мысль.

– Расскажите.

– Возможно, это несколько опасно, и я боюсь, как бы это вас не испугало.

– Я готов на все, чтобы оказать вам услугу; за те три-четыре дня, что я провел в Страсбуре, я столько всего нагляделся, что меня уже ничто не пугает.

– Я хотел бы передать весточку брату.

– Я берусь ее передать.

– Но это письмо.

– Я вручу его.

– И вас не пугает, что это опасно?

– Я вам уже говорил, что меня ничто больше не пугает.

– Я уверен, что мог бы передать его с капитаном; вероятно, он отправит его по назначению.

– С капитаном это всего лишь вероятно, со мной же оно дойдет наверняка.

– В таком случае слушайте меня внимательно.

– Я вас слушаю.

– Письмо зашито в моей шапке.

– Хорошо.

– Вы попросите у капитана разрешения присутствовать при моей казни.

– Я?

– Не гнушайтесь этим; это любопытное зрелище. Множество людей ходят глазеть на казни исключительно ради забавы.

– У меня никогда не хватит духа.

– Ба! Это происходит так быстро!

– О нет! Никогда, никогда!

– Забудем об этом, – сказал узник.

И он принялся насвистывать «Да здравствует Генрих IV». Шарль почувствовал, как его сердце перевернулось в груди, но он уже принял решение. Он приблизился к эмигранту и сказал:

– Простите меня, я сделаю все, что вы захотите.

– Ну что ж, вы славный мальчик; благодарю!

– Только...

– Что?

– Вы сами попросите у капитана разрешения на мое присутствие. Меня вечно будет преследовать мысль, что могут подумать, будто бы ради забавы я...

– Хорошо, я попрошу его об этом; поскольку мы земляки, все пройдет гладко. О! И потом военные не капризничают так, как обыватели; эти храбрые люди исполняют тяжкую повинность, привнося в нее всевозможные послабления. Так на чем мы остановились?

– Вы сказали, что я буду присутствовать при вашей казни.

– Да, вот именно; я попрошу передать брату какую-нибудь вещь, которая мне принадлежала, скажем, мою шапку, это обычное дело; впрочем, вы и сами понимаете, что подобный предмет не вызовет подозрений.

– Не вызовет.

– Как только прикажут открыть огонь, я отшвырну ее в сторону; не слишком спешите подбирать ее, а не то могут что-нибудь заподозрить; только когда я буду мертв...

– О! – воскликнул Шарль, дрожа всем телом.

– У кого-нибудь найдется капелька водки для моего юного земляка? – спросил узник. –

Он продрог.

– Подойди сюда, милый мальчик, – сказал капитан и протянул Шарлю свою флягу.

Шарль отхлебнул немного водки, и не потому, что ему было холодно, а чтобы другие не заметили, какие чувства его обуревают.

– Спасибо, капитан, – сказал он.

– Всегда к твоим услугам, мальчуган, всегда к твоим услугам. И тебе глоток, гражданин Сент-Эрмин?

– Благодарю, капитан, – отвечал арестант, – я совсем не пью.

Шарль вернулся к пленнику.

– Только тогда, – продолжал тот, – когда я буду уже мертв, подберите ее, но так, будто придаете ей не больше значения, чем заслуживает подобная вещь, хотя в глубине души вы будете помнить, – не так ли? – что мое последнее желание (а желание умирающего священо!), чтобы письмо дошло до брата. Если шапка будет вас обременять, достаньте письмо и бросьте ее в первую попавшую канаву, но самому письму вы не дадите погибнуть, не правда ли?

– Нет.

– Вы его не потеряете?

– Нет, нет, не волнуйтесь.

– И если вы лично вручите его моему брату...

– Да, лично.

– Постарайтесь!.. Ну, тогда вы расскажете ему, как я умер, и он скажет: «У меня был храбрый брат; когда придет мой черед, я умру, как он»; и, если его черед настанет, он умрет, как я!

Они подошли к развилке двух дорог; главная дорога вела в Ауэнхайм, а проселочная дорога поднималась к крепости.

– Гражданин, – сказал капитан, – если, как ты сказал, ты направляешься в штаб гражданина Пишегрю, ступай по этой дороге! Счастливого пути, постарайся стать хорошим солдатом; впрочем, у тебя будет хорошая школа.

Шарль попытался заговорить, но слова застряли у него в горле. Он посмотрел на пленника умоляющим взглядом.

– Капитан, – сказал тот, – могу ли я попросить об одолжении?

– Если это в моей власти.

– Это зависит исключительно от вас.

– Что за одолжение?

– Ну, это, возможно, слабость, но все останется между нами, не так ли? Я хотел бы обнять перед смертью земляка; мы оба – этот юноша и я – уроженцы Юры; наши семьи живут в Безансоне и дружат между собой. Когда-нибудь он вернется в наши края и расскажет о том, как мы случайно встретились, как он был со мной до последнего моего мгновения и как я умер, наконец!

Капитан вопросительно посмотрел на мальчика. Тот плакал.

– Разумеется, – сказал капитан, – если это может доставить удовольствие вам обоим.

– Я не думаю, – засмеялся пленник, – что это доставит большое удовольствие ему, но зато это доставит удовольствие мне.

– Я не возражаю, раз уж вы сами, то есть наиболее заинтересованное лицо, просите об этом...

– Итак, договорились? – спросил осужденный.

– Договорились, – ответил капитан.

Отряд пехотинцев, немного задержавшийся на развилке, продолжил путь по проселочной дороге.

На вершине холма виднелась крепость Ауэнхайм – конечная цель их скорбного пути. Шарль придвинулся к пленнику.

– Видите, – сказал тот, – пока все идет превосходно.

Они поднялись по довольно крутому склону, хотя дорога огибала холм. Их узнали, и они вошли в ворота, перейдя через подъемный мост.

Конвой, арестант и Шарль остались во дворе крепости, в то время как капитан, возглавлявший маленький отряд, с которым мы проделали этот путь, пошел доложить о своем прибытии полковнику, командовавшему крепостью.

Между тем граф де Сент-Эрмин и Шарль уже познакомились друг с другом, и Шарль в свою очередь рассказал графу о себе и своей семье.

Через десять минут капитан вновь появился у ворот.

– Ты готов, гражданин? – спросил он у пленного.

– Когда вам будет угодно, капитан, – отозвался тот.

– Есть ли у тебя какие-нибудь возражения?

– Нет, но я хочу попросить оказать мне несколько милостей.

– Я уже говорил тебе, что ты получишь все, что от меня зависит.

– Спасибо, капитан. Офицер подошел к графу.

– Можно служить под различными флагами, – сказал он, – но всегда оставаться французами; к тому же смельчаки узнают друг друга с первого взгляда. Говори же, чего ты желаешь?

– Прежде всего, пусть с меня снимут эти веревки: из-за них я похож на каторжника.

– Это более чем справедливо, – сказал капитан. – Развяжите заключенного.

Двое солдат приблизились к пленнику, но Шарль первым бросился к графу и освободил его руки от пут.

– Ах! – воскликнул граф, вытягивая руки и отряхивая одежду под плащом, – как хорошо быть свободным!

– Ну, а теперь? – спросил капитан.

– Я хотел бы отдать приказ открыть огонь.

– Ты это сделаешь. Что еще?

– Я хотел бы передать что-нибудь на память обо мне родным.

– Ты знаешь, что нам запрещается брать письма у политических заключенных; любую другую вещь – пожалуйста.

– Я не хочу доставлять вам такие хлопоты; вот мой юный земляк Шарль, который проводит меня до места казни, согласно вашему разрешению, и возьмется передать моим родным не письмо, а какую-нибудь принадлежащую мне вещь, например эту шапку!

Граф упомянул шапку столь же непринужденно, как мог упомянуть любую другую деталь своего костюма, и таким образом эта просьба, как и другие, не вызвала у капитана никаких возражений.

– Это все? – спросил он.

– Да, клянусь честью, – отвечал граф. – Уже пора; у меня начинают мерзнуть ноги, а это то, что я ненавижу больше всего на свете. Итак, капитан, в путь; я предполагаю, что вы пойдете вместе с нами.

– Это мой долг.

Граф поклонился, с улыбкой пожал руку маленького Шарля и посмотрел на капитана, спрашивая взглядом, в какую сторону идти.

Капитан встал впереди отряда и сказал:

– Сюда.

Все последовали за ним.

Они прошли через потерну и оказались во втором дворе, где по крепостной стене разгуливали часовые.

В глубине двора возвышалась высокая стена, испещренная следами выстрелов на уровне человеческого роста.

– А! Вот и она, – сказал пленник.

И он без приглашения направился к стене.

Не доходя четырех шагов до стены, он остановился.

– Мы пришли, – сказал капитан. – Секретарь суда, зачитайте осужденному приговор.

По окончании чтения граф кивнул, как бы признавая справедливость приговора. Затем он сказал:

– Простите, капитан, мне нужно побыть с самим собой. Солдаты и капитан отошли.

Граф обхватил одной рукой локоть другой, прижал свой лоб к правой ладони, закрыл глаза и, застыв неподвижно, принялся шевелить губами, но так, что не было слышно не единого слова.

Он молился.

Человека, который молится перед смертью, окружает некая благостная атмосфера, вызывающая уважение у самых закоренелых безбожников. Таким образом, никто не помешал последнему разговору графа с Богом ни словом, ни шуткой, ни смехом.

Затем он выпрямился с улыбкой на лице, обнял своего юного земляка и, подобно Карлу I, напутствовал его на прощание:

– Помни!

Шарль, рыдая, опустил голову.

И тут осужденный приказал твердым голосом:

– Внимание!

Солдаты выстроились в две шеренги в десяти шагах от него, а Шарль с капитаном встали рядом с одной стороны.

Осужденный снял свою шапку, словно ему не хотелось отдавать приказ с покрытой головой, и бросил ее будто наугад.

Шапка упала к ногам Шарля.

– Вы готовы? – спросил граф.

– Да, – ответили солдаты.

– Ружья – наперевес!.. Целься!.. Огонь!.. Да здоровствует ко...

Не успел он договорить, как прогремели выстрелы и семь пуль ранили его грудь.

Он упал на землю ничком.

Шарль подобрал шапку, спрятал ее на груди и застегнул куртку, убедившись при этом, что письмо на месте.

Четверть часа спустя дневальный уже вводил его в кабинет гражданина генерала Пишегрю.

## XVII. ПИШЕГРЮ

Пишегрю скоро займет столь важное место в первой части данной истории, что мы должны обратить на него более пристальное внимание наших читателей, чем на второстепенные персонажи, которых мы были вынуждены ввести в действие в силу законов нашего повествования.

Шарль Пишегрю родился 16 февраля 1761 года в деревне Планш возле Арбуа. Его родители были бедные крестьяне; фамилия его предков, известных на протяжении трехсот-четырехсот лет как честные поденщики, возникла из названия их ремесла. Отсюда происходили окончания «грю» (зерно) и корень «пик» (мотыга); из двух этих слов «пик» и «грю» – образовалось одно имя – Пишегрю.

Пишегрю, у которого рано проявились способности, позволившие ему в будущем стать выдающимся человеком, получил начальное образование у минимов Арбуа; видя, как быстро мальчик продвигался в науках, особенно в математике, монахи направили его вместе с одним из преподавателей отцом Патро в бриенский коллеж. Пишегрю настолько преуспел там в учебе, что через два года его назначили релетитором. В ту пору он стремился только к одному – стать монахом, однако отец Патро, разглядевший будущего Наполеона, усмотрел истинное предназначение Пишегрю и заставил его обратить свои помыслы на военное поприще.

Следуя его совету, Пишегрю вступил в 1783 году в первый полк пешей артиллерии, где благодаря своим неоспоримым заслугам он вскоре стал адъютаном и в этом звании получил свое боевое крещение в Америке.

Вернувшись во Францию, он с энтузиазмом воспринял идеи 1789 года и возглавил народное общество Безансона, когда проходивший через город батальон волонтеров департамента Гар избрал его своим командиром.

Два месяца спустя Пишегрю стал главнокомандующим Рейнской армией. Господин де Нарбонн, военный министр в 1789 году, внезапно потеряв его из вида, как-то раз поинтересовался:

– Что стало с тем молодым офицером, перед которым полковникам хотелось снять шляпы?

Тот самый молодой офицер, став главнокомандующим Рейнской армией, нисколько этим не возгордился.

В самом деле, быстрое продвижение Пишегрю, его образованность и высокое положение в армии ничуть не отразились на его бесхитростном сердце. Будучи унтер-офицером, он приобрел возлюбленную и с тех пор хранил ей верность; ее звали Роза, ей было тридцать лет, она была швеей, некрасивой и вдобавок хромой.

Роза жила в Безансоне и раз в неделю писала генералу. Она никогда не забывала о своем низком положении и, несмотря на закон, вменявший в обязанность гражданам обращаться друг к другу на «ты», неизменно назвала его на «вы», хотя и была послушной гражданкой.

Эти письма были полны добрых советов и нежных предостережений: она советовала главнокомандующему не обольщаться удачей и оставаться прежним Шарлем, каким он был в родной деревне; она советовала ему быть бережливым, не ради нее: ремесло, слава Богу, ее кормило. Она сшила шесть платьев для жены одного депутата и сшила еще шесть для жены

некоего генерала; у нее были три золотые монеты, стоимость которых составляла в ассигнатах тысячу пятьсот или тысячу шестьсот франков, и она хранила эти деньги для своих бедных родителей. Пишегрю, каким бы делом он ни был занят, всегда читал эти письма сразу по получении, бережно прятал их в свой бумажник и говорил с растроганным видом:

– Бедная, но замечательная девушка, а писать она научилась благодаря мне.

Да простят нам то, что мы задерживаемся на подобных подробностях: мы должны ввести в повествование и показать в действиях тех исторических лиц, кто более или менее долго приковывал к себе внимание всей Европы; их превозносили или порочили в зависимости от стремления партий возвысить или унижить этих людей; даже историки судили о них с некоторым легкомыслием в силу своей привычки соглашаться с общепринятым мнением; иное дело – романист, вынужденный вдаваться в мельчайшие подробности, поскольку иногда каждая из них служит ему путеводной нитью, призванной вести его по самому запутанному из лабиринтов – человеческому сердцу. Поэтому мы осмелимся утверждать, что, показывая частную жизнь этих людей (чем всецело пренебрегают историки) наряду с общественной жизнью, о коей те же историки слишком распространяются, хотя нередко она является лишь ширмой, скрывающей частную жизнь, мы впервые представим взорам наших читателей этих прославленных усопших мужей, которых политические страсти ввергали в пучину клеветы, дабы она их поглотила.

Так, мы читали в трудах историков, что Пишегрю предал Францию ради губернаторства в Эльзасе, красной орденской ленты, замка Шамбор с парком и угодьями, двенадцати пушек, миллиона наличными деньгами и ренты в двести тысяч франков, половина которой перечислялась на имя его жены и по пять тысяч – каждому из его детей; наконец, ради поместья в Арбуа, носящего имя Пишегрю и освобожденного от налогов на десять лет.

Первое конкретное опровержение данного обвинения состоит в том, что Пишегрю никогда не был женат, и, следовательно, у него не было ни жены, ни детей, о чьем будущем ему приходилось бы заботиться; в целях нравственного оправдания следует показать Пишегрю в частной жизни, дабы все увидели, каковы были его нужды и чаяния.

Мы уже видели, что Роза давала своему возлюбленному два совета: делать сбережения для своих родных и оставаться тем же добрым и простым Шарло, каким он всегда был.

В походе Пишегрю ежедневно получал сто пятьдесят франков ассигнатами; армейское жалованье приходило в первых числах каждого месяца в виде больших разграфленных листов. Эти пачки бумажных денег лежали на столе вместе с ножницами, и ежедневно всякий, кто хотел, отрезал от них часть на свои нужды; такой пачки редко хватало на месяц; зачастую она кончалась 24-го или 25-го, и тогда каждый устраивался как мог, чтобы прожить остальные дни.

Один из секретарей Пишегрю писал о нем: «Этот великий математик из Бриена не был в состоянии оплатить счет прачки обычными деньгами».

Он добавлял: «Империя была бы слишком мала для его гения, поместье – слишком велико для его лени».

Что касается совета Розы оставаться добрым Шарло, посудите сами, нуждался ли он в подобном наставлении.

Два-три года спустя после событий, которые мы пытаемся описать, Пишегрю, достигший вершины популярности, вернулся в свой горячо любимый Франш-Конте, чтобы вновь увидеть родную деревню Планш; при въезде в Арбуа, под триумфальной аркой его поджидала делегация, чтобы поздравить с прибытием и пригласить на торжественный ужин и праздничный бал.

Пишегрю выслушал оратора с улыбкой и, когда тот закончил свою речь, обратился к главе делегации с такими словами:

– Мой дорогой земляк, я смогу провести на родной земле лишь очень немного часов и должен посвятить почти все это время моим родным из окрестных деревень; если бы связывающие нас узы дружбы побудили меня предать свои родственные обязанности, вы первые

осудили бы меня и были бы правы; однако вы пришли, чтобы пригласить меня на ужин и бал; хотя я уже давно отвык от подобных развлечений, я охотно принял бы в них участие. Я был бы счастлив осушить в столь почтенном обществе несколько стаканчиков нашего превосходного молодого вина и посмотреть, как танцуют девушки Арбуа: они, должно быть, очень красивы, если похожи на своих матерей. Но солдат всегда держит свое слово, а я, клянусь честью, уже дал его: я давно обещал виноградарю Барбье разделить с ним свою первую трапезу по возвращении на родину, и, по совести, с этого момента до захода солнца я не смогу пировать дважды.

– Но мне кажется, мой генерал, – возразил глава делегации, – что есть способ уладить это дело.

– Какой?

– Пригласить Барбье отужинать вместе с вами.

– Я так и сделаю; если он согласится, буду очень доволен, но я сомневаюсь, чтобы он пошел на это. У него по-прежнему тот же унылый, суровый вид, из-за которого его прозвали Барбье Горемыка.

– Еще более унылый, чем прежде, мой генерал.

– Ну что ж, я сам к нему отправлюсь, – сказал Пишегрю, – ибо я полагаю, что придется употребить все мое влияние, чтобы убедить его присоединиться к нам.

– Хорошо, генерал, а мы последуем за вами, – сказали посланцы.

– Пойдемте, – согласился Пишегрю.

И все отправились на поиски Барбье Горемыки, бедного виноградаря, все состояние которого заключалось в сотне виноградных лоз и который смачивал виноградным вином сухую корку черного хлеба.

Они прошли вдоль деревни. В конце пути генерал остановился перед старой липой.

– Граждане, – промолвил он, – ухаживайте хорошенько за этим деревом и никогда не разрешайте его срубить. Здесь погиб в муках герой, который вместе с отрядом из ста пятидесяти человек защищал ваш город от Бирона и целой королевской армии. Этого героя звали Клод Морель. Здесь же глупый зверь по имени Бирон в конце концов укусил вскормившую его руку, приказав повесить Море-ля... Несколько лет спустя Бирон, предавший Францию, убийца Клода Мореля, отбивался от палача, так что тот был вынужден проявить чудодейственную силу и ловкость, чтобы отрубить ему голову: он сделал это незаметно для осужденного, взяв меч из рук помощника.

Поклонившись знаменитому дереву, он продолжал свой путь под рукоплескания толпы, сопровождавшей его.

Некто, знавший, где находится виноградник Барбье Горемыки, отыскал его владельца посреди жердей, подпиравших лозу, и окликнул его.

Барбье высунул из-за жердей свою голову в неизменном хлопчатобумажном колпаке.

– Кто меня спрашивает? – прокричал он.

– Шарло! – отвечал собеседник.

– Какой Шарло?

– Шарло Пишегрю.

– Вы издеваетесь надо мной, – сказал виноградарь и вновь принялся пропалывать свой виноградник.

– Никто и не думал над тобой издеваться, вот и он собственной персоной.

– Эй, Барбье! – позвал Пишегрю в свою очередь.

Услышав хорошо знакомый голос, Барбье Горемыка выпрямился и, завидев посреди толпы мундир генерала, воскликнул:

– Вот те на! Неужели это и вправду он?

Пробежав между жердей, он добрался до края виноградника, остановился, чтобы удостовериться, не стал ли он жертвой галлюцинации, и, окончательно узнав генерала, помчался к нему навстречу и бросился в его объятия с криком;

– Стало быть, это ты, Шарло! Мой дорогой Шарло!

– Стало быть, это ты, мой дорогой товарищ! – отвечал Пишегрю, прижимая его к груди. И они оба – крестьянин и генерал – зарыдали один сильнее другого.

Все отошли в сторону, чтобы дать возможность старым друзьям вдоволь наплакаться от счастья встречи.

Когда первоначальный обмен нежностями был закончен, глава делегации приблизился к Барбье Горемыке и изложил причину этого визита, торжественно нанесенного ему посреди поля, что и было настоящим домом виноградаря.

Барбье посмотрел на Пишегрю, чтобы выяснить, следует ли ему согласиться.

Пишегрю молча кивнул головой.

Виноградарь хотел лишь зайти домой, чтобы надеть свой воскресный костюм, но глава делегации, вычитавший из поэмы Бершу мнение этого прославленного гурмана о разогретых кушаньях, не захотел дать ему на это время, и Пишегрю вместе с Барбье Горемыкой повели в мэрию, где их ждал ужин.

Пишегрю посадил главу делегации по правую руку, а Барбье Горемыку по левую, но говорил в основном лишь со своим другом и расстался с ним только перед отъездом.

Да простят нам столь длинное отступление, посвященное одному из наиболее выдающихся деятелей Революции. Заглянув в его частную жизнь, мы сможем понять его и судить, вероятно, более беспристрастно, чем когда-либо делалось до сих пор, об этом политическом деятеле, который станет одним из главных действующих лиц первой части нашей книги.

## XVIII. ПРИЕМ, ОКАЗАННЫЙ ШАРЛЮ

У Шарля было рекомендательное письмо именно к этому человеку, перед которым открылось безграничное будущее, если бы только в его судьбу не вмешались роковые силы.

Возможно, с еще более сильным волнением, чем испытанное им при посещении Шнейдера и Сен-Жюста, мальчик вошел в просторный, но простой с виду дом, где Пишегрю разместил свой штаб.

– Генерал в своем кабинете, третья дверь справа, – сказал солдат, охранявший дверь, что вела в коридор.

Шарль вошел в него довольно твердой походкой, но, по мере того как он приближался к указанной двери, его шаги становились все медленнее и тише.

Дойдя до порога этой двери, которая была приоткрыта, он увидел генерала: опираясь обеими руками на большой стол, он изучал карту Германии. (Пишегрю был уверен в том, что незамедлительно начнет боевые действия по другую сторону Рейна.)

«Пишегрю казался старше своих лет, и его телосложение подкрепляло это заблуждение. Он был выше среднего роста; туловище его крепко сидело на мощных бедрах. Ему было присуще изящество, но изящество, подобающее силе. У него была широкая выпуклая грудь, хотя он слегка сутулился. На его огромных плечах покоилась крепкая, короткая и жилистая шея, придавая ему некоторое сходство с атлетом, подобным Милону, или с гладиатором, подобным Спартаку. У него было квадратное лицо (форма, нередко встречающаяся у чистокровных жителей Франш-Конте), громадные челюсти и необъятный лоб, сильно расширявшийся у облысевших висков. Его правильный нос сильно выдавался на лице. Когда у Пишегрю не было оснований смотреть властно или грозно, его взгляд был несравненно кротким. Если бы великий художник попытался изобразить на человеческом лице бесстрастное выражение полубога, ему следовало бы представить себе голову Пишегрю.

Ему было присуще глубочайшее презрение к людям и историческим событиям: о них он всегда высказывался с пренебрежительной иронией. Пишегрю преданно служил общественному строю, установленному на его глазах, ибо такова была его задача, но он не любил и не мог его любить. Его сердце приходило в волнение лишь при мысли о деревне, где он надеялся провести свою старость. «Выполнить свой долг и уйти на покой, – говорил он частенько, – вот истинное предназначение человека» <sup>note 9</sup>.

Шарль выдал свое присутствие каким-то шорохом; у Пишегрю были быстрый взгляд и чуткое ухо человека, чья жизнь зачастую зависит от хорошего слуха и зоркого зрения.

Он резко поднял голову и пристально посмотрел на вошедшего своими большими глазами, доброжелательное выражение которых придало мальчику смелости.

Шарль переступил порог и, поклонившись, вручил ему письмо.

– Гражданину генералу Пишегрю, – сказал он.

– Значит, ты меня узнал? – спросил генерал.

– Тотчас же, генерал.

– Но ты же никогда меня не видел.

– Мой отец описал мне вас.

Тем временем Пишегрю распечатал письмо.

– Как! – воскликнул он, – ты сын моего храброго дорогого друга?.. Мальчик не дал ему договорить.

– Да, гражданин генерал, – промолвил он.

– Он пишет, что отдает тебя в мое распоряжение.

– Остается выяснить, принимаете ли вы этот подарок.

– Как ты думаешь, что мне с тобой делать?

– Что пожелаете.

– По совести, я не могу сделать из тебя солдата: ты слишком молод и слаб.

– Генерал, счастье так скоро вас увидеть выпало мне нечаянно. Отец дал мне письмо для другого своего друга, который должен был держать меня в Страсбуре по меньшей мере год, обучая греческому.

– Это, часом, не Евлогий Шнейдер? – со смехом спросил Пишегрю.

– Именно так.

– Ну и что?

– Так вот, он был вчера арестован.

– По какому приказу?

– По приказу Сен-Жюста, и его отправили в Париж, чтобы предать суду Революционного трибунала.

– В таком случае, это еще один человек, с которым ты можешь навсегда распрощаться. И как же это произошло?

Шарль рассказал ему историю мадемуазель де Брэн от начала до конца. Пишегрю выслушал юношу с величайшим интересом.

– В самом деле, – сказал он, – есть создания, позорящие человечество. Сен-Жюст поступил правильно. А ты ничем не запятнал себя посреди всей этой грязи?

– О! – воскликнул Шарль, преисполненный гордости оттого, что в свои годы стал участником бурных событий, – я был в тюрьме, когда все это случилось.

– Как в тюрьме?

– Да, меня арестовали накануне.

– Уже дошло до того, что арестовывают детей?

– Именно это и привело Сен-Жюста в страшную ярость.

– За что же тебя арестовали?

– За то, что я предупредил двух депутатов из Безансона, которые подвергались опасности, оставаясь в Страсбуре.

– Дюмона и Баллю?

– Именно их.

– Они здесь, в моем штабе, ты их увидишь.

– Я полагал, что они вернулись в Безансон.

– По дороге они передумали. Ах, так это тебе они обязаны предостережением, что, вероятно, спасло им жизнь?

– Кажется, я был не прав, – сказал мальчик, опуская глаза.

– Не прав! Кто же тебе сказал, что ты был не прав, совершив благородный поступок, который спас жизнь твоих ближних?

– Сен-Жюст! Но он добавил, что прощает меня, потому что жалость – чувство, присущее только детям, а себя привел в пример: в то же утро он приказал расстрелять своего лучшего друга.

Лицо Пишегрю омрачилось.

– Это правда, – сказал он, – его поступок обсуждался в армии, и я даже должен отметить, что, как бы его ни расценивали, этот пример оказал положительное воздействие на боевой дух солдат. Упаси меня Бог от того, чтобы мне пришлось когда-нибудь подавать подобный пример, ибо, скажу прямо: я его не подам. Эх! Какого черта! Мы французы, а не лакедемоняне. Нам можно на какое-то время спрятать лицо под маской, но рано или поздно мы снимем маску, и лицо останется прежним, разве что на нем прибавится несколько морщин, вот и все.

– Итак, генерал, возвращаясь к письму моего отца...

– Решено, ты остаешься с нами; я назначаю тебя секретарем штаба. Ты умеешь ездить верхом?

- Генерал, я должен признаться, что далеко не силен в верховой езде.
- Научишься. Ты пришел пешком?
- Да, сюда из Бишвиллера.
- А от Страсбург до Бишвиллера?
- Я приехал в двуколке с госпожой Тейч.
- Хозяйкой гостиницы «У фонаря»?
- И со старшим сержантом Пьером Ожеро.
- А кой черт угораздил тебя познакомиться с этим грубияном Пьером Ожеро?
- Он был учителем фехтования Эжена Богарне.
- Сына генерала Богарне?
- Да.
- Этот генерал тоже расплатится на эшафоте за свои победы, – сказал Пишегрю со вздохом, – кое-кто считает, что пули убивают недостаточно быстро. Ну, бедный мальчик, ты, должно быть, умираешь с голоду?
- О нет, – сказал Шарль, – я только что видел зрелище, лишившее меня аппетита.
- Что же ты видел?
- Я видел, как расстреляли одного бедного эмигранта из наших краев, которого вы, вероятно, знаете.
- Графа де Сент-Эрмин?
- Да.
- Они отрубили голову его отцу восемь месяцев тому назад, а сегодня расстреляли сына; осталось еще два брата.
- Пишегрю пожал плечами.
- Почему бы им не расстрелять всех сразу? – продолжал он. – Ведь дойдет очередь до каждого члена семьи. Ты когда-нибудь видел, как казнят на гильотине?
- Нет.
- Ну, так завтра, если это тебя позабавит, можешь доставить себе удовольствие увидеть это: к нам прибыла партия осужденных из двадцати двух человек. Кого там только нет – от высших офицерских чинов до конюхов! Теперь займемся твоим устройством; это не отнимет много времени.
- Он показал мальчику матрац, лежавший на полу.
- Вот моя постель, – пояснил он. Затем он указал на другой матрац.
- А это, – продолжал он, – постель гражданина Реньяка, старшего штабного писаря.
- Он позвонил, и тотчас же появился вестовой.
- Еще один матрац! – приказал генерал. Пять минут спустя вестовой вернулся. Пишегрю указал ему рукой, где расстелить матрац.
- А вот и твоя постель, – сказал он. Затем он открыл шкаф со словами:
- Это твой шкаф, никто не будет туда ничего класть, и ты ничего не клади в чужие шкафы; вещей у тебя немного, и я надеюсь, что ты здесь все уместишь. Если у тебя есть что-то ценное, носи это при себе, так надежнее всего, но не потому, что тебя могут ограбить: когда будет дан сигнал немедленно выступать в поход – то ли для наступления, то ли для отступления, – ты рискуешь позабыть о своем добре.
- Генерал, – простодушно промолвил мальчик, – у меня была только одна ценная вещь – письмо моего отца, и я вам его отдал.
- В таком случае поцелуй меня и распакуй свои пожитки; я же вернусь к карте.
- Подходя к столу, он заметил двух мужчин, беседовавших в коридоре, напротив двери.
- Эй! – позвал он. – Иди-ка сюда, гражданин Баллю! Иди-ка сюда, гражданин Дюмон! Я хочу познакомить вас с новым гостем, который ко мне прибыл.
- И он указал им на Шарля; поскольку оба смотрели на него, не узнавая, он сказал:

– Дорогие земляки, поблагодарите этого ребенка: именно благодаря ему сегодня вечером ваши головы все еще у вас на плечах.

– Шарль! – вскричали оба, принимаясь целовать мальчика и прижимать его к своей груди, – наши жены и дети узнают твое имя, полюбят и будут благословлять тебя.

В то время как Шарль тоже сжимал в объятиях своих земляков, вошел молодой человек лет двадцати-двадцати двух и спросил у Пишегрю на безукоризненной латыни, не может ли тот уделить ему четверть часа для беседы.

Удивленный таким вступлением, Пишегрю ответил ему на том же языке, что он полностью в его распоряжении.

Открыв дверь маленькой комнаты, сообщавшейся с большой, он жестом пригласил его войти туда и, когда тот вошел, последовал за ним; догадываясь, что этот человек должен сообщить ему нечто важное, Пишегрю закрыл за собой дверь.

## ХІХ. ШПИОН

Пишегрю окинул гостя быстрым взглядом, острым и пронизательным, но не смог распознать национальности молодого человека.

Тот был одет как бедный путник, который только что проделал долгий путь пешком. На нем была шапка из лисьего меха и нечто вроде козьей шкуры с вырезом для шеи, наподобие блузы, стянутой на поясе кожаным ремнем; из отверстий, проделанных в верхней части этого панциря, вывернутого мехом внутрь, выглядывали рукава шерстяной полосатой рубашки; на ногах у него были сапоги со скошенными подметками, длинные, выше колен.

Это одеяние никоим образом не указывало на национальность юноши.

Однако по его белокурым волосам, светло-голубым глазам, взгляд которых был тверд и даже жесток, по усам льняного цвета, резко очерченному подбородку и развитым челюстям Пишегрю понял, что незнакомец, видимо, принадлежит к одной из северных рас.

Молодой человек молчал, позволяя разглядывать себя, и, казалось, испытывал пронизательность Пишегрю.

– Венгр или русский? – спросил Пишегрю по-французски.

– Поляк! – лаконично ответил молодой человек на том же языке.

– Стало быть, изгнанный? – сказал Пишегрю.

– Еще хуже!

– Бедный народ! Такой отважный и такой несчастный! И он протянул изгнаннику руку.

– Погодите, – сказал молодой человек, – прежде чем оказывать мне такую честь, следует выяснить...

– Всякий поляк – смельчак! – воскликнул Пишегрю, – каждый изгнанник имеет право на рукопожатие патриота.

Но поляк хотел доказать, не без некоторой доли самолюбия, что достоин подобного знака внимания. Он снял кожаный мешочек, который носил на груди, как неаполитанцы носят свои амулеты, открыл его и достал оттуда сложенную вчетверо бумагу.

– Слышали ли вы о Костюшко? – спросил юноша. И в его глазах промелькнула яркая молния.

– Кто же не знает героя Дубенки? – ответил вопросом на вопрос Пишегрю.

– В таком случае, читайте, – сказал поляк. И он протянул ему записку. Взяв ее, Пишегрю прочел:

«Я рекомендую всем людям, которые сражаются за независимость и свободу своей страны, этого храбреца, сына храбреца и брата храбреца. Он был со мной в Дубенке.

Т. Костюшко».

– У вас прекрасное свидетельство о мужестве, сударь, – сказал Пишегрю, – не изволите ли вы оказать мне честь стать моим адъютантом?

– Я служил бы вам недостаточно хорошо и плохо отомстил бы за себя, а мне ничего не нужно, кроме мести.

– На кого же вам приходится сетовать: на русских, австрийцев или пруссаков?

– И на тех, и на других, и на третьих, ибо все они угнетают и раздирают несчастную Польшу на части, но я главным образом имею в виду Пруссию.

– Откуда вы?

– Из Данцига; во мне течет кровь древнего племени поляков, которые потеряли свой город в тысяча триста восьмом году, отвоевали его в тысяча четыреста пятьдесят четвертом и защищали его от Стефана Батория в тысяча пятьсот семьдесят пятом году. С тех пор в Данциге образовалась польская партия, всегда готовая к бою, и она поднялась по первому зову Костюшко. Мой брат, мой отец и я взяли ружья и встали под его знамена. Таким образом все мы

– брат, отец и я – оказались в числе четырех тысяч человек, в течение пяти дней защищавших от шестнадцати тысяч русских форт Дубенку, и у нас были только сутки, чтобы его укрепить.

Через некоторое время Станислав уступил воле Екатерины. Костюшко, не желая становиться сообщником любовника царицы, подал в отставку, и тогда мы – брат, отец и я – вернулись в Данциг, где я продолжил свое учение.

Однажды утром мы узнали, что Данциг был отдан Пруссии.

Мы, две-три тысячи патриотов, выразили свой протест, взявшись за оружие; нам казалось, что этот раздел нашей родины, нашей дорогой расчлененной Польши, требует не просто несогласия, но и физического протеста, того самого протеста кровью, которой надо время от времени орошать народы, чтобы они не зачухли; мы выступили навстречу прусскому корпусу, что пришел завладеть городом; он насчитывал десять тысяч солдат, а нас было тысяча восемьсот человек.

Тысяча из нас полегла на поле боя.

За три последующих дня триста человек умерли от ран.

Осталось пятьсот человек.

Все они были виновны в равной степени, но наши враги были великодушными противниками.

Нас разделили на три группы.

Первая имела право на расстрел.

Вторая – на казнь через повешение.

Третьей даровали право на жизнь после того, как каждый получит по пятьдесят палочных ударов.

Нас разделили в зависимости от наших сил: тяжелораненых приговорили к расстрелу; тех, у кого были более легкие ранения, должны были повесить; те, кто остался жив, должны были получить по пятьдесят палочных ударов, чтобы на всю жизнь сохранить воспоминание о наказании, что заслуживает всякий неблагодарный, отказавшийся броситься в распростертые объятия Пруссии.

Моего умирающего отца расстреляли; моего брата, у которого было всего лишь сломано бедро, повесили; я же, у которого была только царапина на плече, получил пятьдесят палочных ударов.

На сороковом ударе я потерял сознание, но мои палачи были добросовестными людьми: хотя я уже не чувствовал ударов, они довели дело до конца, а затем оставили меня лежать на месте, потеряв ко мне интерес; мой приговор гласил, что, когда я получу пятьдесят ударов, меня освободят.

Экзекуция происходила в одном из дворов крепости; когда я пришел в себя, была уже ночь, я увидел вокруг множество бездыханных тел, походивших на трупы, но, видимо, как и я несколько минут назад, лежали без сознания. Я отыскивал свои вещи, но, за исключением рубашки, не смог надеть их на окровавленные плечи. Я набросил их на руку и попытался разобраться в обстановке. В ста шагах от меня горел огонь; я подумал, что это свеча офицера, охранявшего дверь, и направился к ней.

Офицер-охранник стоял у порога дверцы в воротах.

«Ваше имя?» – спросил он меня.

Я сказал ему свое имя.

Он проверил по списку.

«Держите, – сказал он, – вот ваш путевой лист».

Я бросил взгляд на документ. На нем значилось: «Годен для пересечения границы».

«И я не смогу вернуться в Данциг?» – спросил я.

«Только под страхом смертной казни».

Я подумал о своей матери, не только ставшей вдовой, но и потерявшей сына, вздохнул, вверил ее судьбу Богу и отправился в путь.

У меня не было денег, но, к счастью, в потайном отделении бумажника я сохранил записку, которую Костюшко дал мне при расставании, ту самую, что я вам показывал.

Мой путь пролегал через Кюстрин, Франкфурт, Лейпциг. Подобно тому, как моряки видят Полярную звезду и ориентируются по ней, я видел на горизонте Францию, этот светоч свободы, и направлялся к ней. Полтора месяца голода, усталости, лишений и унижений – все это было позабыто, когда позавчера я добрался до святой земли независимости; все было позабыто, кроме возмездия.

Я бросился на колени и благодарил Бога за то, что чувствовал себя не менее сильным, чем злодеи, чьей жертвой я стал. В каждом из ваших солдат я видел братьев, идущих не на завоевание мира, а на освобождение угнетенных народов; когда пронесли одно из знамен, я устремился к офицеру с просьбой разрешить мне поцеловать этот священный стяг, символ братства, но офицер заколебался.

«Ах! – сказал я ему, – я поляк-изгнанник и проделал триста льё, чтобы присоединиться к вам. Этот флаг – также и мой флаг; я имею право прижать его к своему сердцу и прикоснуться к нему губами».

Я взял флаг почти что силой и поцеловал его со словами:

«Оставайся всегда чистым, сияющим и овеянным славой, знамя победителей, взявших Бастилию, знамя Валь-ми, Жемапа и Бершайма!»

О генерал, на миг я позабыл об усталости и своих плечах, израненных гнусной палкой, о брате, погибшем на презренной виселице, о расстрелянном отце!.. Я позабыл обо всем, даже о мести!

И вот сегодня я стою перед вами; я сведущ во всех науках, говорю на пяти языках так же, как на французском, и могу поочередно сойти за немца, англичанина, русского или француза. Я могу проникать в любом обличье в города, крепости и штабы и могу докладывать вам обо всем, ибо знаю, как снять план; нет такой преграды, что остановила бы меня: будучи ребенком, я десятки раз переправлялся через Вислу вплавь; вообще-то я уже не человек, а орудие: меня зовут уже не Стефан Мойнжский, мое имя – Возмездие!

– Так ты хочешь стать шпионом?

– Вы называете шпионом бесстрашного человека, который благодаря своему уму может причинить врагу наибольший вред?

– Да.

– Значит, я хочу быть шпионом.

– Знаешь ли ты, что рискуешь: если тебя схватят, то расстреляют.

– Как моего отца.

– Или повесят.

– Как моего брата.

– Наименьшая беда, что может с тобой случиться, – тебя поколотят палками; об этом ты тоже знаешь.

Быстрым движением Стефан расстегнул свой кафтан, поднял рубашку и показал свою спину, исполосованную синеватыми шрамами.

– Как это со мной уже было, – со смехом сказал он.

– Помни, что я предлагаю тебе службу лейтенантом в армии или офицером-переводчиком при мне!

– А вы, гражданин генерал, помните, что, оказавшись недостойным, я покину это место. Осудив меня, враги поставили меня на колени. Ну что ж, не нанести ли мне им удар снизу?

– Хорошо! Теперь скажи, что ты хочешь?

– Денег, чтобы купить себе другую одежду, и ваших приказаний.

Протянув руку, Пишегрю взял со стула пачку ассигнатов и ножницы.

Это была ежемесячная сумма, которую он получал на свои расходы в военное время.

Середина месяца еще не наступила, а пачка была уже порядком израсходована.

Он отрезал от нее сумму, рассчитанную на три дня, то есть четыреста пятьдесят франков, и отдал деньги шпиону.

– Купи себе на это одежду, – сказал он.

– Это слишком много, – отвечал поляк, – ведь мне нужна крестьянская одежда.

– Быть может, не сегодня-завтра тебе придется надеть другой маскарадный костюм.

– Хорошо! Теперь приказывайте!

– Слушай меня внимательно, – сказал Пишегрю, положив ему руку на плечо.

Юноша слушал Пишегрю, не сводя с него глаз, как будто ему было недостаточно слышать его слова, а требовалось также их видеть.

– Меня известили о том, что Мозельская армия под командованием Гоша вскоре присоединится к моей армии. Когда это произойдет, мы пойдем в наступление на Вёрт, Фрошвейлер и Рейсгоффен. Итак, мне нужны сведения о численности людей и орудий, обороняющих эти крепости, а также о наилучших позициях для атаки на них; тебе поможет ненависть, которую наши крестьяне и эльзасские буржуа питают к пруссакам.

– Следует ли доставить эти сведения сюда? Будете ли вы ждать их здесь или выступите в поход, чтобы идти навстречу Мозельской армии?

– Вероятно, через три-четыре дня ты услышишь залпы пушек со стороны Маршвиллера, Дауэндорфа или Юберака; там мы с тобой и встретимся.

В это время дверь, ведущая в большую комнату, открылась и показался молодой человек лет двадцати шести-двадцати семи в мундире полковника.

По его белокурым волосам, светлым усам и розовому цвету лица было нетрудно узнать одного из тех многочисленных ирландцев, которые служили во Франции, поскольку мы воевали или собирались воевать в Англии.

– А, это вы, мой дорогой Макдональд, – сказал Пишегрю, приветствуя молодого человека жестом, – я как раз собирался послать за вами; вот один из ваших соотечественников – англичан или шотландцев.

– Ни англичане, ни шотландцы мне не соотечественники, генерал, – отвечал Макдональд, – я ирландец.

– Простите, полковник, – промолвил Пишегрю со смехом, – я не хотел вас обидеть; я хотел сказать, что он говорит только по-английски, и, поскольку я знаю этот язык очень плохо, мне хотелось бы знать, чего он просит.

– Нет ничего проще, – сказал Макдональд.

Он обратился к молодому человеку и задал ему несколько вопросов – тот отвечал сразу и без малейшей запинки.

– Он сказал вам, чего он хочет? – спросил Пишегрю.

– Да, вполне понятно, – ответил Макдональд, – он просит место в обозе или в интендантской службе.

– В таком случае, – сказал Пишегрю поляку, – поскольку это все, что я хотел узнать, приступайте к исполнению своих обязанностей и не забывайте о моих наказах. Не могли бы вы перевести ему слова, которые я только что сказал, мой дорогой Макдональд, вы окажете мне услугу. Макдональд дословно повторил по-английски то, что сказал генерал; лжеирландец поклонился и вышел.

– Ну, – продолжил Пишегрю, – как, по-вашему, он говорит по-английски?

– Великолепно, – ответил Макдональд, – у него совсем небольшой акцент, и это наводит меня на мысль, что он родился не в Лондоне и не в Дублине, а в провинции. Но только англичанин или ирландец может это заметить.

– Вот и все, что я хотел узнать, – сказал Пишегрю и засмеялся.  
И он перешел в большую комнату в сопровождении Макдональда.

## XX. ПРОРОЧЕСТВО ОБРЕЧЕННОГО

Когда Шарль прибыл в штаб, большинство офицеров, служивших в ставке Пишегрю, выполняли боевую задачу или были в разведке.

Только на следующий день, когда были отданы распоряжения к предстоящему походу и все вернулись, выполнив свою миссию, штаб оказался за обеденным столом в полном составе.

За этим столом, помимо полковника Макдональда, которого мы уже видели, сидели четыре бригадных генерала: граждане Либер, Бурсье, Мишо и Эрманн, а также два офицера главного штаба граждане Гом и Шометт и двое адъютантов – граждане Думерк и Аббатуччи.

Думерк был капитаном кавалерии; ему было, вероятно, года двадцать два-двадцать три; он родился в окрестностях Тулона; это был один из самых красивых мужчин в армии.

Что касается смелости, то он жил в такое время, когда отвага даже не считалась заслугой.

Кроме того, это был один из тех обаятельных людей, что оживляли тихую, но холодную безмятежность Пишегрю, редко принимавшего участие в разговоре и улыбавшегося, так сказать, только про себя.

Аббатуччи же был корсиканец; поступив пятнадцати лет в военное училище в Меце, он стал лейтенантом артиллерии в 1789 году и капитаном в 1792 году. В этом звании он и стал адъютантом Пишегрю.

Это тоже был красивый молодой человек двадцати трех лет, которого ничто не могло утратить. Он был строен, ловок и силен, с бронзовым цветом лица, сходным по своему оттенку со старинной монетой, что придавало его классической красоте своеобразие, странным образом не вязавшееся с его живостью, простодушной, экспансивной, почти детской, хотя и лишенной пыла и блеска.

Нет ничего веселее, чем подобные трапезы молодых людей, несмотря на то что стол весьма напоминал столы Лакедемона; горе тем, кто возвращался слишком поздно из-за военной стычки или любовной встречи: их ждали чистые тарелки и пустые бутылки, и им приходилось жевать черствый хлеб при смехе и шутках своих товарищей.

Однако каждую неделю то одно, то другое место за столом оставалось незанятым. Генерал замечал его, когда проходил мимо, хмурил брови и жестом приказывал убрать прибор отсутствующего, погибшего за родину.

Павшего поминали, поднимали бокалы за него и расходились.

В этом беспечном отношении к жизни и быстром забвении умерших было некое неподражаемое величие.

Очень серьезной проблемой, уже несколько дней занимавшей всех этих молодых людей почти столь сильно, как и события, в которых они участвовали, был вопрос об осаде Тулона.

Как все помнят, Тулон был отдан англичанам адмиралом Троговым; мы сожалеем, что не смогли отыскать его имя ни в одном из словарей: имена предателей все же следует сохранять в назидание потомкам.

Господин Тьер, безусловно, из чувства патриотизма называл его русским.

Увы! Он был бретонцем.

Первоначальные известия не были утешительными, и молодые люди, особенно офицеры артиллерии, от души посмеялись над планом генерала Карто; суть его заключалась в следующих трех строчках: «Командир артиллерии будет бомбардировать Тулон в течение трех дней, после чего я поведу наступление на город и возьму его».

Затем поступило известие, что Карто был заменен генералом Дюгомье, внушавшим несколько больше доверия; однако прошло только два года с тех пор, как он приехал с Мартиники и всего лишь полтора года с тех пор, как его назначили генералом, и он был еще почти неизвестен.

Наконец, последняя новость гласила, что осада началась в соответствии со всеми правилами военной науки, и артиллерия под командованием доблестного офицера наносила врагу большой урон; поэтому каждый день все с нетерпением ждали прибытия «Монитёра».

Газету доставили к концу обеда. Генерал взял ее у дневального и бросил через стол Шарлю.

– Держи, гражданин секретарь, – сказал он, – это входит в твои обязанности: поищи, нет ли там чего-нибудь о Тулоне.

Покраснев до ушей, Шарль перелистал «Монитёр» и задержался на письме генерала Дюгомье, отправленном из главной квартиры в Ольюле десятого фримера II года:

«Гражданин министр, сегодня был жаркий, но счастливый день; в течение двух дней главная батарея обстреливала Мальбуке, вызывая сильное беспокойство в этом пункте и его окрестностях. Сегодня утром, в пять часов, неприятель предпринял активное наступление, в результате которого он поначалу овладел всеми нашими передовыми постами по левую сторону от этой батареи. При первом же обстреле мы быстро переместились на левый фланг.

Я увидел, что почти все наши силы обратились в бегство. Поскольку генерал Гарнье жаловался, что войска его покинули, я приказал ему собрать их и отправиться на штурм нашей батареи, взятой врагом. Я принял командование третьим изерским батальоном, чтобы направиться к той же батарее другой дорогой. Нам улыбнулась удача: вскоре этот пункт был взят; далеко отброшенный, противник отступил во всех направлениях, оставив на поле боя большое количество убитых и раненых. Благодаря этой операции вражеская армия потеряла более тысячи двухсот человек как убитыми и ранеными, так и пленными, среди которых несколько офицеров высокого ранга и, наконец, главнокомандующий О'Хара, раненный выстрелом в правую руку.

В этом бою, как видно, пострадали два генерала, ибо и я получил две сильные контузии: в правую руку и в плечо, но они неопасны. Быстро отбросив неприятеля на его прежние позиции, наши республиканцы, в порыве безрассудной смелости, пошли в наступление на Мальбуке под поистине чудовищным огнем противника, защищавшего этот форт. Они овладели палатками одного из лагерей, и противнику, столкнувшемуся с бесстрашием, пришлось спешно эвакуироваться. Эта операция, ставшая подлинным триумфом республиканской армии, сулит превосходный исход нашим последующим боевым действиям, ибо чего еще нам ждать от заранее подготовленной, точно рассчитанной атаки, если мы так хорошо действуем без подготовки? Мне не хватит слов, чтобы в полной мере воздать должное мужеству наших братьев по оружию, сражавшихся вместе с нами; из тех, кто наиболее отличился и больше всех помог мне собрать войска и продвинуться вперед, следует назвать командующего артиллерией гражданина Буонапарте и генерал-адъютантов граждан Арена и Червони.

Дюгомье, главнокомандующий».

– Буона-Парте! – воскликнул Пишегрю, – это должно быть, тот самый молодой корсиканец, чьим репетитором я был; он проявлял недюжинные способности к математике.

– В самом деле, – сказал Аббатуччи, – в Аяччо живет семейство Буонапарте, глава которого Карло де Буонапарте был адъютантом Паоли; видимо, эти Буонапарте даже состоят с нами в довольно близком родстве.

– Еще бы! На Корсике вы все сплошная родня! – промолвил Думерк.

– Если это мой Буонапарте, – продолжал Пишегрю, – то это, должно быть, молодой человек ростом от силы в пять футов и один-два дюйма, с гладкими волосами, прилизанными на висках, не говоривший ни слова по-французски, когда приехал в Бриен; он немного мизантроп и отшельник, большой противник присоединения Корсики к Франции и большой поклонник Паоли; за два-три года он выучился у отца Патро... Послушай-ка, Шарль, у того самого, что был покровителем твоего приятеля Евлогия Шнейдера!.. Он выучился всему, что отец Патро знал и, следовательно, чему тот мог научить.

– Только, – продолжал Аббатуччи, – его имя пишется не так, как пишут в «Монитёре», разрывая его посередине; оно пишется просто «Буонапарте».

Все были поглощены разговором, когда слышался страшный шум, и они увидели, как люди побежали в сторону Страсбургской улицы.

Неприятель был так близко, что в любой момент можно было ждать внезапного нападения. Прежде всего каждый бросился к своей сабле. Думерк, сидевший ближе других к окну, не только схватил свою саблю, но бросился на улицу, выпрыгнув в окно, и помчался к возвышенности, с которой можно было наблюдать, что происходило на всей улице; но, добежав туда, он передернул плечами и покачал головой в знак разочарования и вернулся к своим спутникам медленным шагом, с понурой головой.

– В чем дело? – спросил Пишегрю.

– Ни в чем, мой генерал, просто несчастного Айземберга с его штабом ведут на гильотину.

– Почему же, – сказал Пишегрю, – они не идут прямо в крепость? До сих пор нас избавляли от этого зрелища!

– Верно, генерал, но они решили нанести удар, который дошел бы до самого сердца армии. Казнь генерала и его штаба послужит столь хорошим уроком для другого генерала и другого штаба, что они сочли уместным удостоить вас, а также нас этого поучительного спектакля.

– Однако, – робко промолвил Шарль, – я слышу не крики, а взрывы смеха. Мимо проходил солдат, направлявшийся со стороны процессии: генерал знал его как своего земляка из селения Арбуа. Это был егерь восьмого полка, по имени Фалу.

Генерал окликнул его.

Егерь остановился, оглядываясь по сторонам, повернулся к генералу и поднес руку к своей шапке.

– Подойди сюда, – приказал генерал. Егерь приблизился.

– Что их так рассмешило? – спросил Пишегрю. – Разве чернь поносит осужденных?

– Совсем наоборот, мой генерал, их жалеют.

– В таком случае, что означает этот громкий смех?

– Они сами виноваты, мой генерал; он рассмешит и столб, а то как же!

– Кто он?

– Хирург Фижак, которому скоро отрубят голову; он рассказывает им с повозки столько баек, что даже осужденные умирают со смеху.

Генерал и его сотрапезники переглянулись.

– И все же мне кажется, что время для веселья выбрано довольно неудачно, – заметил Пишегрю.

– Ну, вероятно, он и в смерти нашел что-то смешное. В тот же миг перед ними предстал передовой отряд мрачной процессии, веселившийся от души, но его смех звучал не оскорбительно и грубо, а естественно и даже вызывал сочувствие.

Почти сразу же они увидели гигантскую повозку: она везла на смерть двадцать два человека, связанных по двое.

Пишегрю сделал шаг назад, но неожиданно Айземберг громко окликнул его по имени.

Пишегрю застыл на месте.

Фижак замолчал, видя, что Айземберг собирается что-то сказать; смех сопровождающих его людей тоже затих. Айземберг заставил других подвинуться, увлекая за собой человека, к которому он был привязан, и вскричал с высоты повозки:

– Пишегрю! Стой и слушай меня.

Те молодые люди, что были в шляпах или фуражках, обнажили головы; Фалу прижался к окну, застыв с поднятой к шапке рукой.

– Пишегрю! – промолвил несчастный генерал, – я иду на смерть, с радостью оставляя тебя на вершине славы, куда вознесло тебя твое мужество; я знаю, что твое сердце воздаст должное моей верности, покинутой военной фортуной, и что в глубине души ты сочувствуешь моей беде. Расставаясь с тобой, я хотел бы предсказать тебе более счастливый конец по сравнению с моим, но берегись этой надежды. Ушар и Кюстин уже мертвы, вскоре умру я, умрет Богарне, и ты умрешь, подобно нам. Народ, которому ты отдал свою руку, не скупится проливать кровь своих защитников, и, если тебя минует меч иноземца, будь уверен: ты не избежишь меча палачей. Прощай, Пишегрю! Да хранит тебя Небо от зависти тиранов и от лживого правосудия убийц; прощай, друг! Эй вы, вперед!

Пишегрю помахал ему рукой, закрыл окно и вернулся в комнату, скрестив руки и опустив голову, как будто слова Айземберга легли тяжестью на его чело.

Затем, резко подняв голову, он обратился к молодым людям, стоявшим неподвижно и молча смотревшим на него.

– Кто из вас знает греческий? – спросил он. – Я подарю свою самую красивую трубку работы Куммера тому, кто назовет мне греческого автора, что рассказывает о пророчествах людей перед смертью.

– Я немного знаю греческий, генерал, – сказал Шарль, – но я совсем не курю.

– Ну, в таком случае, будь покоен: я дам тебе другую вещь, которая придется тебе по нраву больше, чем трубка.

– Итак, генерал, это Аристофан, – ответил Шарль, – он говорит об этом в одном месте, которое, по-моему, переводится так: «Умиравшие, убежденные сединой, вещают, словно сивиллы».

– Bravo! – воскликнул Пишегрю и потрепал его по Щеке, – завтра или позже ты получишь то, что я обещал.

Затем, повернувшись к своим адъютантам и ординарцам, он сказал:

– Пойдемте, ребята, я устал смотреть на все эти бойни; через два часа мы покинем Ауэнхайм; мы постараемся расставить наши передовые посты до самого Дрюзенема; везде смерть не страшна, а на поле боя – это просто удовольствие. Давайте же сражаться!

В тот же миг Пишегрю принесли правительственную депешу.

Это был приказ соединиться с Мозельской армией и подчиниться Гошу, командовавшему этой армией.

Сразу же после этого обеим армиям надлежало не давать врагу передышки до тех пор, пока они вновь не овладеют виссамбургскими линиями.

С приказом нельзя было спорить. Пишегрю положил депешу в карман и, помня, что шпион Стефан ждет его в кабинете, чтобы получить последние указания, прошел туда, сказав на прощание:

– Граждане, будьте готовы выступить в поход по первому звуку трубы и по первому удару барабана.

## XXI. НАКАНУНЕ СРАЖЕНИЯ

Пишегрю предложил отвоевать позиции, что были отданы его предшественником в сражении при Агно, последовавшим за взятием виссамбургских линий. Именно тогда генерал Карль был вынужден перевести свой штаб за реку, между Суффелем и Шильтигемом, то есть к воротам Страсбура.

Там же Пишегрю, получивший назначение главным образом благодаря своему простому происхождению, вновь возглавил армию и в результате нескольких удачных операций продвинулся вместе со своим штабом к Ауэнхайму.

Благодаря такому же происхождению Гош был назначен главнокомандующим Мозельской армией; ему было предписано согласовывать свои действия с Пишегрю.

Первый более или менее значительный бой, который он дал, произошел в Бершайме; именно там, во время одной из атак, был взят в плен граф де Сент-Эрмин (под ним была убита лошадь). Ставка принца де Конде размещалась в Бершайме, и Пишегрю, решив прощупать вражеские колонны, в то же время уклоняясь от главного сражения, приказал атаковать эту позицию.

Сначала его войска были отброшены, но на следующий день он возобновил наступление, выставив против принца де Конде отряд егерей, разделенный на небольшие группы. Эти пехотинцы, долгое время внушавшие эмигрантам беспокойство, внезапно собрались по условному сигналу, построились колонной, атаковали селение Бершайм и захватили его, но на этом сражения между французами не закончились. Принц де Конде находился позади селения вместе с батальонами дворян, из которых состояла пехота его корпуса; он немедленно встает во главе своего войска, ведет наступление на республиканцев, обосновавшихся в Бершайме, и овладевает селением. Тогда Пишегрю посылает свою конницу для поддержки пехоты; принц призывает своей кавалерии перейти в атаку; оба корпуса сталкиваются с неистовой силой, присущей ненависти, но преимущество остается на стороне кавалерии эмигрантов, экипированной лучше, чем наша конница; республиканцы отступают, потеряв семь пушек и девятьсот человек убитыми.

Эмигранты же потеряли триста кавалеристов и девятьсот пехотинцев. Сын принца де Конде герцог де Бурбон был задет пулей, когда наступал на Бершайм во главе кавалерии, и почти все его адъютанты были убиты или тяжело ранены; однако Пишегрю отнюдь не считает себя побежденным; через день он приказывает атаковать войска генерала Клено, занимающие населенные пункты в окрестностях Бершайма. Неприятель отступает при первом же ударе, но принц де Конде посылает подкрепление из эмигрантской кавалерии и пехоты.

Бой вспыхивает с новой силой и продолжается некоторое время без перевеса на той или другой стороне; наконец республиканские войска одерживают победу; неприятель отступает и укрывается за Агно, и корпус французских эмигрантов остается без прикрытия; войска принца де Конде, посчитавшего неразумным занимать прежние позиции, отступают в порядке, и вслед за ними республиканцы входят в Бершайм.

Известие о победе приходит чуть раньше известия о поражении; но первая новость вскоре заставляет забыть о второй. Пишегрю переводит дух: железный пояс, державший Страсбург в тисках, немного ослаб.

На сей раз, как сказал Пишегрю, он выступил в поход скорее для того, чтобы удалиться от Ауэнхайма, нежели для того, чтобы произвести некий стратегический маневр. Однако, поскольку со дня на день придется отвоевывать Агно, находившееся во власти австрийцев, попутно будет вестись наступление на селение Дауэндорф.

Между Ауэнхаймом и Дауэндорфом простирается лес, расположенный в виде подковы; в восемь часов вечера, в темную, но прекрасную зимнюю пору Пишегрю отдал приказ к выступ-

лению; Шарль, который не был отменным наездником, сел на лошадь; генерал по-отечески поместил его посреди офицеров своего штаба и поручил им приглядывать за ним; они выехали бесшумно, ибо следовало застигнуть врага врасплох.

В авангарде войска шел эндрский батальон.

Вечером Пишегрю приказал осмотреть лес, и ему доложили, что он не охраняется.

В два часа ночи они зашли в чащу «подковы», куда вклинивалась равнина. Полоса леса шириной около лье отделяла республиканцев от селения Дауэндорф.

Пишегрю приказал сделать привал и разбить лагерь.

Нельзя было в такую ночь оставлять людей без огня; несмотря на то что их могли обнаружить, Пишегрю разрешил солдатам развести костры, и все собрались вокруг них. Впрочем, предстояло провести таким образом всего лишь четыре часа.

На протяжении всего пути он следил за Шарлем, которому дали лошадь трубача: ее накрытое бараньей шкурой седло с приподнятыми задней лукой и кобурой служило надежной опорой даже для неумелого наездника; однако генерал с радостью увидел, что его юный секретарь забрался в седло без боязни и правит лошадью довольно свободно. Когда они добрались до места стоянки, он самолично показал ему, как расседлывать лошадь, как привязывать ее и как сделать из седла подушку.

Теплый широкий плащ, который заботливый генерал приказал положить среди вещей, послужил мальчику и матрацем и одеялом.

Шарль, по-прежнему, хотя и жил в чуждое религии время, верил в Бога; он прочел про себя молитву и уснул тем же безмятежным сном юности, как спал в своей комнате в Безансоне.

Передовые пикеты, выставленные в лесу, и часовые, размещенные по их флангам и сменявшиеся каждые полчаса, охраняли безопасность небольшого войска.

Около четырех часов утра их разбудил выстрел одного из часовых; в одно мгновение все были на ногах.

Пишегрю посмотрел на Шарля; тот бросился к своей лошади, достал из седельной кобуры пистолеты и отважно встал справа от генерала, держа по пистолету в каждой руке.

Генерал послал человек двадцать в ту сторону, откуда прогремел выстрел; часовой не появлялся: вероятно, его убили.

Однако, приближаясь бегом к этому месту, они слышали крики часового, звавшего их на помощь, ускорили бег и увидели не людей, а зверей, разбегавшихся при их появлении.

Часового атаковала стая из пяти-шести голодных волков, которые сначала покружились вокруг, напугав его, а затем, увидев, что он остается неподвижным, еще более осмелели. Солдат прислонился к дереву, чтобы на него не капали сзади, и некоторое время молча отбивался от волков штыком, но, когда один из них ухватился за штык зубами, выстрелил в него и пробил ему голову.

Напуганные выстрелом, голодные волки сначала отбежали в сторону, но затем вернулись, то ли для того чтобы съесть своего собрата, то ли чтобы снова напасть на часового. Произошло это так быстро, что солдат не успел перезарядить ружье. Он отбивался из последних сил и уже получил два-три укуса, когда товарищи пришли ему на помощь и обратили в бегство неожиданных новых врагов.

Младший лейтенант, возглавлявший отряд, оставил сторожевое охранение из четырех человек вместо часового, и вернулся в лагерь с трофеями в виде двух волков: один был сражен пулей, а другой убит штыком; их шкуры с великолепным мехом, спасавшим их от сильного мороза, предназначались в качестве напольных ковров для генерала.

Солдата отвели к Пишегрю, и тот встретил его с суровым видом, решив, что выстрел был произведен им по оплошности, но его чело омрачилось еще сильнее, когда он узнал, что солдат стрелял, защищаясь от волков.

– Видишь ли, – сказал он солдату, – мне следовало бы тебя расстрелять за то, что ты открыл огонь не по врагу.

– Что же мне оставалось делать, мой генерал? – спросил бедняга так простодушно, что генерал не смог удержаться от улыбки.

– Тебе следовало ждать, пока волки сожрут тебя до последнего кусочка, а не стрелять, что могло бы привлечь внимание неприятеля; во всяком случае твой выстрел переполошил все наше войско.

– Я так и думал, мой генерал, но вы видите, что они первые начали, мерзавцы! (И он показал свои окровавленную щеку и руку.) Но я сказал себе: «Фаро – так меня зовут, генерал, – тебя поставили здесь, опасаясь, как бы не прошел враг, и рассчитывали, что ты помешаешь ему пройти».

– Ну и что? – спросил Пишегрю.

– Ну так вот, мой генерал: если бы меня съели, ничто не помешало бы врагу пройти; именно поэтому я решил стрелять, а мысль о спасении своей жизни пришла ко мне лишь после этого, честное слово.

– Несчастный, твой выстрел мог быть услышан передовыми постами неприятеля!

– Не беспокойтесь на этот счет, мой генерал: они, должно быть, приняли его за выстрел браконьера!

– Ты парижанин?

– Да, но я служу в первом батальоне департамента Эндр и вступил в него добровольно, когда он проходил через Париж.

– Ну, Фаро, я хочу посоветовать тебе только одно: предстать передо мной в нашивках капрала, чтобы я позабыл о проступке, который ты совершил.

– А что для этого надо сделать, мой генерал?

– Тебе надо доставить своему капитану завтра или, точнее, сегодня двух пленных пруссаков.

– Солдат или офицеров, мой генерал?

– Лучше офицеров, но мы обойдемся и двумя солдатами.

– Постараемся, мой генерал.

– У кого есть водка? – спросил Пишегрю.

– У меня, – сказал Думерк.

– Ладно, дай глоток этому трусу, который обещает привести завтра двух пленных.

– А если я приведу только одного, мой генерал?

– Ты станешь капралом лишь наполовину и будешь носить нашивку только на одном плече.

– Нет, от этого можно стать косым! Завтра вечером, мой генерал, я приведу двоих, в противном случае вы можете сказать: «Фаро погиб!» За ваше здоровье, мой генерал!

– Генерал, – сказал Шарль Пишегрю, – именно с помощью вот таких слов Цезарь заставил своих галлов обойти вокруг света!

## XXII. СРАЖЕНИЕ

Войско пробудилось и хотело идти вперед; было около пяти часов утра; генерал отдал приказ выступать, пообещав солдатам, что они позавтракают в Дауэндорфе и каждый получит двойную порцию водки.

Разведчики, высланные вперед, попутно сняли часовых; затем войско вышло из леса, построившись в три колонны, первая из которых овладела по дороге Кальтенхаузенем, в то время как две другие, обойдя селение справа и слева в сопровождении своей легкой артиллерии, рассредоточились по равнине и пошли прямо на Дауэндорф.

Неприятель был застигнут в Кальтенхаузене врасплох, и поэтому его крайний передовой пикет почти не оказал сопротивления; однако несколько выстрелов разбудили тех, что были в Дауэндорфе, и республиканцы еще издали увидели, как они выскочили и выстроились в боевом порядке.

Неподалеку от селения, в половине расстояния пушечного выстрела, возвышался холм; генерал пустил свою лошадь вскачь и в сопровождении своего штаба поднялся на вершину этого холма, откуда мог охватить одним взглядом сражение во всех его подробностях. Перед этим он приказал полковнику Макдональду взять на себя командование первым батальоном департамента Эндр, находившимся во главе колонны, и вытеснить противника из Дауэндорфа.

Он оставил возле себя восьмой егерский полк, чтобы в случае надобности бросить его на противника, а затем приказал установить ниже по склону батарею из шести восьмифунтовых орудий.

Эндрский батальон, за которым следовала остальная часть войска, сохранявшая дистанцию в стратегических целях, пошел в наступление на противника. Перед деревней были воздвигнуты укрепления. Когда республиканцам оставалось до них не более двухсот шагов, артиллеристы по знаку Пишегрю осыпали передовые оборонительные сооружения противника градом картечи. Пруссаки открыли в ответ непрерывный огонь, который сразил наповал пятьдесят человек, но храбрый батальон, образовавший ударную колонну, перешел на беглый шаг и после сигнала барабанов атаковал противника в штыки.

Неприятель, уже напуганный градом картечи, который обрушил на него генерал, покинул внешние укрепления, и наши солдаты почти вперемешку с пруссаками вошли в селение. Но одновременно с разных концов того же селения появились две значительные войсковые части: кавалерия и пехота эмигрантов: первая – под командованием принца де Конде, вторая – во главе с герцогом де Бурбоном. Две эти части грозили обойти с флангов небольшой армейский корпус, выстроенный в боевом порядке позади эндрского батальона и уже частично устремившийся вслед за ним.

Пишегрю немедленно послал одного из своих адъютантов капитана Гома к генералу Мишо, командовавшему центральной частью войск, с приказом образовать каре и встретить атаку конницы принца де Конде в штыки.

Затем, подозвав Аббатуччи, он приказал ему встать во главе второго егерского полка и нанести решающий удар эмигрантской пехоте, после того как он сочтет, что артиллерийский обстрел уже в должной мере нарушил ее строй.

Стойко держась возле генерала, Шарль наблюдал с высоты холма, как Пишегрю и принц де Конде, то есть Республика и контрреволюция, разыгрывали внизу страшную шахматную партию, именуемую войной.

Он видел, как капитан Гом, скача во весь опор, пересек открытое пространство, простиравшееся слева от холма, где находился Пишегрю, чтобы доставить приказ главнокомандующего генерал-адъютанту Мишо, только сейчас заметившему, что его левому флангу угрожают

войска принца де Конде, и приготовившемуся самолично отдать такой же приказ, который вез ему капитан Гом.

С другой стороны, то есть справа от холма, он увидел, как капитан Аббатуччи, вставший во главе восьмого егерского полка, спускается рысью по крутому склону, в то время как три артиллерийские орудия поочередно обстреливают ряды пехоты, собиравшейся пойти на нас в атаку.

На миг эмигрантская пехота дрогнула, и Аббатуччи воспользовался этим. Он приказал обнажить сабли, и тут же шестьсот клинков засверкали в первых лучах восходящего солнца.

Герцог де Бурбон приказал своим людям построиться в каре, но суматоха была слишком велика, а может, приказ был дан слишком поздно. Атакующие налетели как вихрь, и неожиданно конница и пехота смешались: завязался рукопашный бой. В это время с другой стороны генерал-адъютант Мишо, напротив, приказал стрелять, когда эмигрантская кавалерия оказалась не более чем в двадцати пяти шагах. Невозможно описать эффект, произведенный этим залпом в упор: более ста всадников и столько же лошадей упало, а некоторых из них, сраженных на полном скаку, кони домчали до первого ряда каре.

Принц перестроил кавалерию так, что она оказалась вне пределов досягаемости выстрелов.

В тот же миг показался эндрский батальон, медленно, но явно отступавший. Обстрелянный в деревне из окон всех домов, а также из двух пушек, занявших боевую позицию на площади, он был вынужден отойти назад.

Генерал послал своего четвертого адъютанта Шометта срочно узнать, что произошло, и передать приказ Макдональду остановиться и удержаться на своих позициях.

Шометт пересек поле боя под перекрестным огнем республиканцев и неприятеля и, не доехав ста шагов до укреплений, выполнил поручение главнокомандующего.

Макдональд ответил генералу, что не только не сдвинется с места, но, как только его люди переведут дух, предпримет новую попытку овладеть Дауэндорфом. Он лишь просил произвести поблизости от селения для облегчения этой трудной задачи какой-нибудь отвлекающий маневр.

Шометт вернулся к генералу, который находился так близко от поля боя, что требовалось всего несколько минут, чтобы отвезти его приказ и доставить ему ответ.

– Возьми у Аббатуччи двадцать пять егерей и четырех трубачей, – сказал ему Пишегрю, – обогни с этими людьми селение, выйди на улицу, что находится напротив той, по которой будет наступать Думерк, и прикажи трубачам трубить изо всех сил, пока Макдональд будет атаковать; роялисты решат, что их окружили, и сдадутся.

Шометт снова спустился по склону холма, добрался до Аббатуччи, быстро переговорил с ним, взял двадцать пять человек и послал двадцать шестого к Макдональду с приказом наступать, предупредив его, что следует атаковать неприятеля с тыла.

И тут Макдональд поднял свою саблю, барабаны дали сигнал к атаке, и, невзирая на яростный огонь, его войска ворвались на площадь.

Почти одновременно с другого конца селения послышались сигналы труб Шометта.

Теперь все оказались вовлеченными в бой: принц де Конде возобновил атаку на Мишо с его батальоном, построенным каре; эмигрантская пехота отступала под натиском восьмого егерского полка и Аббатуччи; наконец, Пишегрю бросил половину своего резерва, приблизительно четыреста-пятьсот человек, вслед за батальоном департамента Эндр и держал подле себя еще четыреста-пятьсот человек на случай непредвиденного поворота событий; однако отступавшая пехота эмигрантов направила последний залп не на Аббатуччи и его егерей, а на группу людей, стоявших на холме, среди которых нетрудно было узнать генерала по плюмажу на шляпе и золотым эполетам.

Два человека упали; лошадь генерала, получившая удар в грудь, подскочила. Шарль вскрикнул и откинулся на круп своей лошади.

– Ах, бедное дитя! – вскричал Пишегрю. – Ларрей! Ларрей!

На его крик прибежал молодой хирург лет двадцати шести-двадцати семи. Мальчику не дали упасть с лошади и, поскольку он поднес руку к груди, расстегнули его мундир.

Генерал был крайне удивлен, когда между жилетом и рубашкой мальчика обнаружили шапку.

Шапку встряхнули, из нее выпала пуля.

– Искать дальше бесполезно, – сказал хирург, – рубашка цела, и крови нет. Ребенок слаб и потерял сознание от неожиданного выстрела. Клянусь честью, этот головной убор, от которого не было бы никакого толка, если бы он сидел на своем месте, спас ему жизнь; дайте мальчику глоток водки, и все пройдет.

– Странно, – заметил Пишегрю, – это форменный головной убор егеря из армии Конде.

В тот же миг Шарль, к губам которого поднесли флягу, пришел в себя и первым делом принялся ощупывать свою грудь в поисках шапки. Он открыл было рот, чтобы спросить о ней, но заметил ее в руках генерала.

– Ах, генерал, – воскликнул он, – простите меня!

– Черт возьми! Ты прав, ибо очень нас напугал.

– О! Не за это, – сказал Шарль с улыбкой и кивнул в сторону генерала, в чьих руках была шапка.

– В самом деле, – сказал Пишегрю, – вы должны это объяснить.

Шарль подошел к генералу и тихо промолвил:

– Это шапка графа де Сент-Эрмин, молодого эмигранта, расстрелянного на моих глазах; перед смертью он вручил ее мне с просьбой передать его родным.

– Однако, – сказал Пишегрю, ощупывая шапку, – здесь зашито письмо.

– Да, генерал, его брату; несчастный граф опасался, что, если он доверит письмо постороннему, родные его не получат.

– И напротив, доверив его земляку из Франш-Конте, он мог быть спокоен, не так ли?

– Разве я поступил неправильно, мой генерал?

– Человек всегда прав, когда исполняет желание умирающего, тем более если это достойное желание. Скажу больше: это священный долг, и его следует исполнить как можно скорее.

– Но ведь я еще не возвращаюсь в Безансон.

– Хорошенько подумав, я, возможно, найду способ отправить тебя туда.

– Вы ведь отправите меня в Безансон не из-за того, что недовольны мной, не так ли, генерал? – спросил мальчик со слезами на глазах.

– Нет, но я дам тебе какое-нибудь поручение, чтобы наши земляки убедились, что еще один уроженец Юры служит Республике. Теперь обними меня и давай посмотрим, что там происходит.

Несколько мгновений спустя Шарль позабыл о случившемся с ним происшествии и, устремив взор на поле боя и селение, тяжело дышал от волнения, вызванного удивившим его зрелищем; он дотронулся до руки генерала и показал ему на людей, которые бежали по крышам, прыгали из окон и пролезали через ограду садов, чтобы добраться до равнины.

– Прекрасно! – сказал Пишегрю. – Селение в наших руках, и день прожит не напрасно.

Затем он сказал Либеру, единственному из офицеров штаба, который еще находился рядом с ним:

– Встань во главе резерва и помешай этим людям объединиться.

Либер встал во главе пехоты, в которой оставалось четыреста-пятьсот человек, и бегом повел ее вниз, к селению.

– Что касается нас, – продолжал Пишегрю со своим обычным спокойствием, – пойдем посмотрим, что творится в селении.

И он поскакал крупной рысью по дороге, ведущей в Дауэндорф, в сопровождении лишь двадцати пяти – тридцати кавалеристов, оставшихся от арьергарда восьмого егерского полка, генерала Бурсье и Шарля.

Шарль окинул поле прощальным взглядом: неприятель бежал во все стороны. Впервые он увидел бой, и сейчас ему осталось лишь рассмотреть поле битвы.

Он видел поэтическую сторону сражения – движение, огонь и дым, но расстояние скрывало от него подробности.

Ему предстояло увидеть отвратительную сторону сражения – агонию, смерть и неподвижные тела, ему предстояло столкнуться с кровавой реальностью.

## XXIII. ПОСЛЕ СРАЖЕНИЯ

На протяжении пятисот-шестисот шагов, которые оставалось проехать маленькому отряду, поле боя было совершенно оголено. Лишь раненые, убитые и умирающие лежали на этом пространстве.

Сражение длилось от силы полтора часа, а полегло более тысячи пятисот человек, друзей и недругов.

Шарль приближался к рубежу смерти с некоторой опаской; наткнувшись на первый труп, его лошадь фыркнула и сделала скачок, от которого мальчик едва не вылетел из седла; лошадь Пишегрю, управляемая более твердой рукой или, возможно, более привычная к подобным препятствиям, перепрыгивала через тела; настал момент, когда лошади Шарля пришлось взять пример с коня Пишегрю и тоже перепрыгивать через трупы.

Однако вскоре наиболее сильное волнение вызывали у Шарля уже не трупы, а умирающие: одни из последних сил пытались отползти в сторону с пути следования лошадей генерала и его свиты, а другие, страшно искалеченные, еле слышно хрипели:

– Братцы, сжальтесь, прикончите меня, прикончите меня!

Наконец, третьи, получившие более легкие ранения, приподнимались и, напрягая последние силы, махали шляпами, приветствуя Пишегрю, и кричали:

– Да здравствует Республика!

– Ты видишь поле боя впервые? – спросил Пишегрю.

– Нет, генерал, – ответил мальчик.

– Где же ты его видел?

– У Тацита: после битвы в Тевтобургском лесу, как его увидели Германик и Цецина.

– Ах да, – сказал Пишегрю, – я припоминаю: перед тем как войти в лес, Германик видит орла девятнадцатого легиона, погибшего вместе с Варом.

– И вы также припоминаете, генерал, этот отрывок, смысл которого я теперь прекрасно понимаю: «Все находившееся с ним войско было взволновано скорбью о родственниках и близких и мыслями о превратностях войн и судьбе человеческой».

– Да, – продолжал Пишегрю, цитируя Тацита: – «Посреди поля белелись скелеты, где одинокие, где наваленные грудями, смотря по тому, бежали ли воины или оказывали сопротивление». О! – вскрикнул он, – я хотел бы вспомнить, как этот текст, который не может передать ни один перевод, звучит на латыни; погоди: «Medio...»

– Я помню, генерал: – промолвил Шарль, – «Medio campi albentia ossa ut fugerant, ut resisterant».

– Bravo, Шарль, – сказал Пишегрю, – твой отец, приславший тебя ко мне, поистине преподнес мне подарок!

– Генерал, – спросил Шарль, – разве вы не отдадите приказ оказать помощь несчастным раненым?

– Ты разве не видишь хирургов, которые переходят от одних к другим, получив приказ не делать никакого различия между пруссаками и французами? По крайней мере, за восемнадцать веков цивилизации мы добились того, что пленных уже не убивают на алтарях храмов Тевтата, как во времена Маробода и Арминия.

– А также, – продолжал Шарль, – побежденным генералам не приходится, подобно Вару, наносить самим себе удар *infelice dextra* <sup>note 10</sup>.

– Ты находишь, – рассмеявшись, спросил Пишегрю, – что для них намного лучше попасть в руки революционного комитета, как бедный Айземберг, лицо которого так и стоит у меня перед глазами, а слова звучат в ушах?

Переговариваясь таким образом, они въехали в селение. Возможно, оно являло собой еще более ужасное зрелище из-за ограниченности пространства; здесь сражались за каждый дом; прежде чем бежать по крыше и через окна, пруссаки и особенно батальон эмигрантов, оставшиеся в селении, отчаянно защищались; когда патроны кончились, они использовали в качестве оружия все, что было под рукой, и принялись швырять на головы нападавших из окон второго и третьего этажей шкафы, комоды, диваны, стулья и даже мраморные каминные; некоторые из этих домов горели, а, поскольку внутри них уже ничего не осталось, разоренные владельцы считали бесполезным тушить пожар и наблюдали, как дома горят.

Пишегрю приказал потушить все очаги огня, а затем направился в мэрию, где обычно останавливался во время похода.

Здесь ему передали донесения.

Войдя во двор мэрии, он первым делом заметил усиленно охраняемый фургон; украшенный голубым гербовым щитом с тремя королевскими лилиями, он был захвачен у дома принца де Конде.

Сочтя, что это важный трофей, его привезли в мэрию, где, как уже было сказано, должен был остановиться генерал.

– Хорошо, – сказал Пишегрю, – фургон будет открыт в присутствии штаба. Он спешился, поднялся по лестнице и уселся в большом зале совещаний. Офицеры, принимавшие участие в сражении, подходили один за другим. Первым пришел капитан Гом; решив принять участие в битве, он вступил в каре, построенное по приказу генерала Мишо, и видел своими глазами, как после трех мощных, но бесполезных атак принц де Конде посредством обходного маневра отступил в сторону Агно, оставив на поле боя примерно двести человек.

Генерал Мишо следил за возвращением своих солдат и размещением их по казармам, а также за тем, чтобы хлеб, искавшийся в Даундорфе, развезли по окрестным селениям.

Затем появился Шометт; согласно приказу генерала, он взял с собой двадцать пять егерей и четырех трубачей и вступил в селение с другого конца, трубя атаку, как будто под его началом было шестьсот человек. Уловка удалась: пруссаки и небольшой корпус эмигрантов, которые защищали селение, решили, что их атакуют с головы и с тыла, и за этим последовало бегство по крышам и через окна, что и видел Шарль, обративший на это внимание генерала.

Затем явился Аббатуччи с рассеченной щекой и вывихнутым плечом. Пишегрю мог видеть, с каким исключительным мужеством его адъютант со своими егерями остановил противника, но, когда Аббатуччи оказался в гуще пруссаков, где разгорелся рукопашный бой, подробности ускользнули от генерала.

Лошадь его пала: голова ее была пробита пулей. Подмятый лошадью, адъютант вывихнул плечо и был ранен ударом сабли. В какой-то миг ему показалось, что он погиб, однако несколько егерей отбили его у неприятеля. Оставшись без лошади посреди чудовищной схватки, он подвергся неимоверной опасности, но Фалу, тот самый егерь, которого молодые люди расспрашивали об Айземберге за два дня до сражения, привел ему лошадь только что убитого им офицера. В подобных случаях некогда рассыпаться в благодарностях: Аббатуччи вскочил на лошадь, держась одной рукой за седло, а другой протянул егерю свой кошелек. Тот оттолкнул офицера, и, подхваченный потоком сражавшихся, Аббатуччи крикнул ему на прощанье:

– Мы еще увидимся!

Вот почему, придя в мэрию, он приказал повсюду разыскивать Фалу.

Егерь под командованием молодого адъютанта убили почти двести человек и захватили вражеское знамя. Аббатуччи лично вывел из строя восемь-десять человек.

Макдональд ждал, пока адъютант Пишегрю отчитается, прежде чем начать свой доклад.

Именно он, Макдональд, нанес сегодня решающий удар во главе эндрского батальона; преодолев полосу укреплений, невзирая на яростный огонь противника, он вступил в селение.

Здесь уже было сказано, как его здесь встретили. Каждый дом пылал, подобно вулкану; град пуль опустошал ряды его солдат, а он продолжал продвигаться вперед; но, когда эти солдаты вышли на главную улицу, два артиллерийских орудия, стоявшие там, обстреляли их с расстояния в пятьсот шагов.

И тут эндрский батальон отступил и вышел за пределы селения.

Сдержав слово, Макдональд дал своим людям отдышаться, а затем снова пошел в атаку; воодушевленный трубачами восьмого егерского полка, которые трубили атаку на другом конце селения, он дошел до главной площади, намереваясь заставить пушки замолчать, но егеря уже захватили их.

С этого момента селение Дауэндорф перешло к нам.

Помимо двух пушек, в наши руки, как уже было сказано, попал фургон, украшенный гербом с королевскими лилиями.

Как мы знаем, генерал предположил, что в нем хранится казна принца де Конде, и приказал открыть фургон только в присутствии штаба.

Последним прибыл Либер; при поддержке егерей Аббатуччи он преследовал неприятеля на протяжении более одного льё и захватил в плен триста человек.

День был удачным: враг потерял тысячу человек убитыми и пятьсот-шестьсот пленными.

Ларрей вправил вывихнутое плечо Аббатуччи.

Штаб был в полном составе; офицеры спустились во двор и послали за слесарем.

В мэрии нашелся слесарь, который явился со своим инструментом.

В мгновение ока верх фургона был снят; одно из его отделений было забито свертками цилиндрической формы. Один из них раскрыли; в упаковке оказалось чистое золото.

В каждой свертке лежало сто гиней (две тысячи пятьсот франков) с изображением короля Георга. Всего было триста десять свертков – семьсот семьдесят пять тысяч франков.

– Клянусь честью, – сказал Пишегрю, – это как нельзя кстати, мы наконец-то выплатим жалованье. Вы здесь, Эстев?

Эстев был кассиром Рейнской армии.

– Вы слышали? Сколько причитается нашим солдатам?

– Около пятисот тысяч; впрочем, я передам вам мои расчеты.

– Возьми пятьсот тысяч франков, гражданин Эстев, – засмеялся Пишегрю, – ибо я чувствую, что один лишь вид золота превращает меня в плохого гражданина, ведь я должен называть тебя не на «вы», на «ты». Раздай жалованье немедленно и устрой себе кабинет на первом этаже, я займу второй этаж.

Гражданину Эстеву отсчитали пятьсот тысяч франков.

– Теперь, – сказал Пишегрю, – нужно раздать двадцать пять тысяч франков в эндрском батальоне, который пострадал больше всех.

– Это примерно по тридцать девять франков на душу, – сказал гражданин Эстев.

– Пятьдесят тысяч франков оставишь на нужды армии.

– А оставшиеся двести тысяч?

– Аббатуччи доставит их в Конвент вместе с захваченным знаменем: пусть весь мир видит, что республиканцы сражаются вовсе не ради золота. Пойдемте наверх, граждане, – продолжал Пишегрю, – и пусть Эстев занимается своим делом!

## XXIV. ГРАЖДАНИН ФЕНУЙО, РАЗЪЕЗДНОЙ ТОРГОВЕЦ ШАМПАНСКИМИ ВИНАМИ

Тем временем камердинер Пишегрю (ему хватило ума не менять свое звание камердинера на служащего и свою фамилию Леблан на Леруж), накрыл стол к обеду и оставил еще привезенными с собой кушаньями; эта предусмотрительность была отнюдь не лишней в подобных довольно частых случаях, когда сразу после сражения садились за стол.

Усталые, голодные, терзаемые жаждой молодые люди, некоторые из которых даже были ранены, отнюдь не остались безучастными при виде еды: они в ней чрезвычайно нуждались. Когда же они заметили, что среди расставленных на столе бутылок, незатейливый вид которых свидетельствовал об их демократическом происхождении, стояло шесть бутылок с серебряным горлышком – свидетельство их принадлежности к лучшим сортам шампанских вин, – грянули радостные возгласы.

Пишегрю также обратил на это внимание и, повернувшись к своему камердинеру, спросил с военной прямоотой:

– Послушай-ка, Леблан, разве сегодня мои или твои именины? Или я вижу на своем столе все эти роскошные вина лишь по случаю одержанной нами победы? Ты разве не знаешь, что достаточно сообщить об этом в Комитет общественного спасения, чтобы мне отрубили голову!

– Гражданин генерал, – ответил камердинер, – дело совсем не в этом, хотя в конечном итоге ваша победа заслуживает того, чтобы ее отметили и в день, когда вы взяли у неприятеля семьсот пятьдесят тысяч франков, вы могли бы потратить франков двадцать на шампанское без ущерба для правительства. Однако пусть ваша совесть будет спокойна, гражданин генерал: шампанское, которое вы сегодня будете пить, ничего не стоит ни вам, ни Республике.

– Я надеюсь, плут ты этакий, – сказал Пишегрю со смехом, – что его не украли у какого-нибудь торговца или не конфисковали в чем-нибудь погребе?

– Нет, генерал, это дар патриота.

– Дар патриота?

– Да, гражданина Фенуйо.

– Что это еще за гражданин Фенуйо? Не адвокат ли это из Безансона: в Безансоне живет один адвокат по имени Фенуйо, не так ли, Шарль?

– Да, – ответил юноша, – к тому же это большой друг моего отца.

– Ни Безансон, ни адвокат тут ни при чем, – сказал Леблан, также разговаривавший с генералом без обиняков, – речь идет о гражданине Фенуйо, торговом агенте фирмы Фрессине из Шалона; в благодарность за услугу, что вы ему оказали, вырвав его из рук неприятеля, он посылает, или, скорее, вручает, вам через меня эти шесть бутылок вина, чтобы вы выпили их за свое здоровье, а также в честь Республики.

– Значит, он был здесь одновременно с неприятелем, твой гражданин Фенуйо?

– Разумеется, ведь вместе с образцами своего товара он был в плену.

– Вы слышите, генерал? – спросил Аббатуччи.

– Вероятно, он мог бы представить нам полезные сведения, – сказал Думерк.

– А где живет твой гражданин Фенуйо? – спросил Пишегрю у Леблана.

– В гостинице рядом с мэрией.

– Поставь еще один прибор вот здесь, прямо напротив меня, и пойдешь скажи гражданину Фенуйо, что я прошу его оказать мне честь отобедать со мной. А пока занимайте свои обычные места, господа.

Офицеры расселись как обычно; Пишегрю посадил Шарля по левую руку от себя.

Леблан поставил прибор и пошел исполнять распоряжение генерала.

Через пять минут камердинер вернулся; он пришел к гражданину Фенуйо, когда тот как раз собирался садиться за стол, повязав на шею салфетку; торговец тотчас же принял приглашение, которым удостоил его генерал, и последовал за посланцем Пишегрю. Вскоре после возвращения Леблана в дверь постучали на манер масонов.

Леблан поспешил открыть дверь.

На пороге стоял мужчина лет тридцати – тридцати пяти в штатском костюме того времени, лишенном каких-либо ярких примет, свойственных наряду аристократа или санкюлота; на нем были остроконечная шляпа с широкими полями, жилет с большими лацканами и приспущенным галстуком, коричневый длиннополоый сюртук, короткие узкие брюки светлого цвета и сапоги с отворотами. У него были белокурые от природы вьющиеся волосы, темные брови и бакенбарды, уходящие под галстук, необычайно дерзкие глаза, широкий нос и тонкие губы.

Входя в столовую, гость немного замешкался на пороге.

– Да входи же, гражданин Фенуйо! – проговорил, смеясь, Пишегрю, от которого не ускользнуло это мимолетное замешательство.

– Право, генерал, – непринужденно отвечал тот, – дело не стоит выеденного яйца, так что я не решался поверить, что ваше любезное приглашение касается именно меня.

– Как это не стоит? Разве вы не знаете, что с моим ежедневным жалованьем в сто пятьдесят франков ассигнатами мне пришлось бы поститься три дня, если бы я позволил себе устроить подобный пир? Садитесь же напротив меня, гражданин, вот ваше место.

Два офицера, которым предстояло сидеть рядом с коммивояжером, отодвинули свои стулья и указали гостю на его место.

Когда гражданин Фенуйо уселся, генерал бросил взгляд на его белоснежную сорочку и холеные руки.

– Вы говорите, что вас держали в плену, когда мы вошли в Дауэндорф?

– В плену или вроде того, генерал; я не знал, что дорога в Агно захвачена врагом, когда меня остановил отряд пруссаков; они решили вылить содержимое моих пробных экземпляров на дорогу; к счастью, появился какой-то офицер и отвел меня к главнокомандующему; я полагал, что мне угрожает лишь утрата ста пятидесяти бутылок, и уже успокоился, но тут прозвучало слово «шпион», и при звуке его, генерал, как вы понимаете, я насторожился и, отнюдь не желая, чтобы меня расстреляли, потребовал встречи с главой эмигрантов.

– С принцем де Конде?

– Вы же понимаете, я потребовал бы встречи с самим чертом; меня отвели к принцу; я показал ему свои документы и откровенно ответил на его вопросы; отведав моего вина, он понял, что такое вино не может принадлежать бесчестному человеку, и заявил своим союзникам, господам пруссакам, что берет меня в плен как француза.

– Вам тяжело пришлось в тюрьме? – спросил Аббатуччи, в то время как Пишегрю столь подозрительно глядел на своего гостя, будто был готов присоединиться к мнению о нем прусского главнокомандующего.

– Все нет, – ответил гражданин Фенуйо, – мое вино понравилось принцу и его сыну, и эти господа отнеслись ко мне почти столь же доброжелательно, как вы, хотя, признаться, когда вчера пришло известие о взятии Тулона и я, как истинный француз, не смог скрыть своей радости, у принца, с которым я как раз имел честь беседовать, испортилось настроение и он отослал меня.

– А! – вскричал Пишегрю. – Значит, Тулон окончательно отвоеван у англичан?

– Да, генерал.

– Какого же числа был взят Тулон?

– Девятнадцатого.

– Сегодня двадцать первое; это невозможно, черт возьми! У принца де Конде нет телеграфа под рукой.

– Нет, – подтвердил коммивояжер, – но у него есть почтовые голуби, летающие со скоростью шестнадцать льё в час; одним словом, это известие пришло из Страсбура, города голубей, и я видел, как принц де Конде отвязал от крыла птицы небольшую записку с новостью; крошечное послание было написано очень мелким почерком, так что в нем могли содержаться некоторые подробности.

– Известны ли вам эти подробности?

– Девятнадцатого город был сдан; в тот же день в него вошла часть наступавшей армии; в тот же вечер по приказу комиссара Конвента расстреляли двести тринадцать человек.

– Это все? Не говорилось ли там о некоем Буонапарте?

– А как же! Город якобы был взят благодаря ему.

– Снова мой кузен! – рассмеялся Аббатуччи.

– И мой ученик, – прибавил Пишегрю. – Тем лучше, клянусь честью! Республика нуждается в талантливых людях, чтобы противостоять мерзавцам вроде этого Фуше.

– Фуше?

– Разве не Фуше вошел в Лион вслед за французскими войсками и приказал расстрелять двести тринадцать человек в первый же день своего назначения?

– Ах да, в Лионе, но в Тулоне это был гражданин Бар-рас.

– Что за гражданин Баррас?

– Некий депутат от Вара, который заседает в Конвенте вместе с монтаньярами; он служил в Индии и приобрел там замашки набоба. Так или иначе, видимо, будут расстреляны все жители и уничтожен город.

– Пусть они уничтожают, пусть расстреливают, – сказал Пишегрю, – чем больше они будут уничтожать и расстреливать, тем быстрее прекратят это! О! Признаться, я предпочел бы, чтобы у нас по-прежнему был наш старый добрый Бог, а не Верховное Существо, которое допускает подобные ужасы.

– А что говорят о моем родственнике Буонапарте?

– Говорят, – продолжал гражданин Фенуйо, – что это молодой офицер артиллерии, друг младшего Робеспьера.

– Видите, генерал, – сказал Аббатуччи, – если он в такой милости у яacobинцев, то сделает карьеру и будет нашим покровителем.

– Кстати о покровительстве, – сказал гражданин Фенуйо, – правда ли, гражданин генерал, то, что говорил мне герцог де Бурбон, весьма лестно отзываясь о вас?

– Герцог де Бурбон очень любезен! – проговорил Пишегрю со смехом. – Что же он вам говорил?

– Он говорил, что именно его отец принц де Конде присвоил вам первый чин!

– Это правда! – сказал Пишегрю.

– Как? – спросили три-четыре человека одновременно.

– Я был тогда простым солдатом королевской артиллерии; однажды принц, присутствовавший на учениях на безансонском полигоне, приблизился к орудию, которое, как ему показалось, содержали в наилучшем порядке; однако в тот момент, когда канонир банил орудие, оно выстрелило и оторвало ему руку. Принц приписал мне этот несчастный случай, обвинив меня в том, что я плохо заткнул запальное отверстие большим пальцем. Я дал ему договорить, а затем молча показал свою окровавленную руку с искореженным, растерзанным, висевшим на волоске пальцем. Смотрите, – продолжал Пишегрю, протягивая руку, – вот след... После этого принц, в самом деле, произвел меня в сержанты.

Юный Шарль, стоявший рядом с генералом, взял его за руку, словно для того, чтобы рассмотреть ее и тотчас же пылко поцеловал рубец.

- Ну же, что ты делаешь? – вскричал Пишегрю, быстро отдергивая руку.
- Я? Ничего, – ответил Шарль, – я восхищаюсь вами!

## XXV. ЕГЕРЬ ФАЛУ И КАПРАЛ ФАРО

В эту минуту дверь распахнулась и появился егерь Фалу, которого вели двое его товарищей.

– Простите, капитан, – обратился к Аббатуччи один из двух солдат, которые привели Фалу, – вы ведь сказали, что хотите его видеть, не так ли?

– Безусловно, я сказал, что хочу его видеть!

– Вот как! Это правда? – спросил солдат.

– Надо думать, что так, раз сам капитан об этом говорит.

– Представьте себе, что он не хотел идти; мы привели его силой, вот так!

– Отчего ты не хотел идти? – спросил Аббатуччи.

– Эх, мой капитан, я понимал, что снова мне будут говорить глупости.

– Как это будут говорить глупости?

– Послушайте, – сказал егерь, – я прошу рассудить нас, мой генерал.

– Я слушаю тебя, Фалу.

– Вот как! Вы знаете мое имя, – спросил он и обернулся к своим товарищам. – Эй! Даже генерал знает мое имя!

– Я сказал тебе, что слушаю; ну же! – продолжал генерал.

– Итак, мой генерал, вот в чем дело: мы наступали, не так ли?

– Да.

– Моя лошадь отскакивает, чтобы не наступить на раненого; эти животные очень умны, как вы знаете.

– Да, я это знаю.

– Особенно моя... Я сталкиваюсь лицом к лицу с эмигрантом; ах! с красивым, совсем молодым парнем двадцати двух лет от силы; он наносит мне удар по голове, и я отражаю удар из первой позиции, не так ли?

– Разумеется!

– И отвечаю колющим ударом; ничего другого не остается, не так ли?

– Ничего другого.

– Не нужно быть судьей, чтобы догадаться: он падает, этот «бывший», проглотив более шести дюймов клинка.

– В самом деле, это больше чем следовало.

– Конечно, мой генерал, – оживился Фалу, предвкушая шутку, которую собирался сказать, – чувство меры иногда изменяет нам.

– Я ни в чем не упрекаю тебя, Фалу.

– Стало быть, он падает; я вижу превосходную лошадь, лишившуюся хозяина, и беру ее под уздцы; тут же я вижу капитана, оставшегося без лошади, и говорю себе: «Вот то, что нужно капитану». Я бросаюсь к нему: он отбивается от пяти-шести аристократов, мечется, как черт перед заутреней; убиваю одного, поражаю другого. «Давайте, капитан, – кричу я ему, – садитесь!» Как только его нога попала в стремя, он живо вскочил в седло, и все было кончено, так-то!

– Нет, не все было кончено, ведь ты не можешь подарить мне коня.

– Почему же я не могу подарить вам коня? Неужто вы слишком горды, чтобы принять его от меня?

– Нет, и в подтверждение этого, голубчик, если ты хочешь удостоить меня рукопожатием...

– Это вы мне окажете честь, мой капитан, – сказал Фалу, приближаясь к Аббатуччи.

Офицер и солдат пожали друг другу руки.

– Мы в расчете, – сказал Фалу, – и все же мне следовало бы дать вам сдачи... но нет мелочи, мой капитан.

– Не беда, ты рисковал жизнью ради меня и...

– Рисковал жизнью ради вас? – вскричал Фалу. – А то как же! Я защищал себя, вот и все; хотите поглядеть, как он дрался, этот «бывший»? Глядите!

Фалу достал свою саблю и показал клинок, зазубренный на протяжении двух сантиметров.

– Дрался как черт, уверяю вас! К тому же это не последняя наша встреча; вы вернете мне долг при первом удобном случае, мой капитан, но чтобы я, Фалу, продавал вам коня? Ни за что!

Фалу уже направился к двери, но генерал тоже окликнул его:

– Подойди сюда, храбрец!

Фалу обернулся, вздрогнул от волнения и, подойдя к генералу, отдал ему честь.

– Ты из Франш-Конте? – спросил Пишегрю.

– Отчасти, генерал.

– Из какой части Франш-Конте?

– Из Буссьера.

– У тебя есть родня?

– Старуха-мать, вы это имеете в виду?

– Да... Чем же занимается твоя старая мать?

– Ба! Бедная славная женщина шьет мне рубашки и вяжет чулки.

– На что же она живет?

– На то, что я ей посылаю, но, поскольку Республика обнищала и мне не платят жалованье уже пять месяцев, она, должно быть, бедствует; к счастью, говорят, что скоро с нами рассчитаются благодаря фургону принца де Конде. Принц – молодец! Моя мать будет благословлять его!

– Как! Твоя мать будет благословлять врага Франции?!

– Что она в этом смыслит! Добрый Бог увидит, что она несет чушь.

– Значит, ты отправишь ей свое жалованье?

– О! Я оставлю себе малость, чтобы промочить горло.

– Оставь себе все.

– А как же старуха?

– Я позабочусь о ней.

– Мой генерал, – сказал Фалу, – качая головой, – это непонятно.

– Покажи свою саблю.

Фалу расстегнул португепю и подал свое оружие Пишегрю.

– О, – воскликнул Фалу, – у нее плачевный вид!

– Значит, – промолвил генерал, вынимая саблю из ножен, – она свое отслужила; возьми мою.

С этими словами Пишегрю отстегнул свою саблю и вручил ее Фалу.

– Но, генерал, – сказал егерь, – что же прикажете делать с ней?

– Будешь отражать удары из первой позиции и отвечать колющими ударами.

– Я никогда не посмею пустить ее в ход.

– Значит, у тебя ее отнимут.

– У меня! Едва ли, только через мой труп!

Он поднес рукоятку сабли к губам и поцеловал ее.

– Хорошо; когда почетное оружие, которое я закажу для тебя, придет, ты мне ее вернешь.

– Гм! – сказал Фалу, – я предпочел бы также оставить вашу, если вы ею не дорожите, мой генерал.

– Ладно, оставь ее себе, зверь, и брось эти церемонии.

– Друзья! – вскричал Фалу, выбегая из комнаты, – генерал назвал меня зверем! Он подарил мне свою саблю! Да здравствует Республика!

– Ладно, ладно, – послышался чей-то голос в коридоре, – это еще не дает тебе право сбивать с ног друзей, особенно если они явились к генералу в качестве послов.

– Ох! – воскликнул Пишегрю, – что все это значит? Ступай, Шарль, встречай господ послов.

Придя в восторг от того, что ему также дали роль в разыгрывавшемся представлении, Шарль бросился к двери и почти тотчас же вернулся.

– Генерал, – доложил он, – это делегаты эндрского батальона, которые пришли от имени своих товарищей во главе с капралом Фаро.

– Что еще за капрал Фаро?

– Тот, что сражался с волками прошлой ночью.

– Но прошлой ночью он был простым солдатом!

– Ну а теперь, генерал, он стал капралом; правда, у него бумажные нашивки!

– Бумажные нашивки? – воскликнул генерал, нахмурившись.

– Право, я не знаю, – сказал Шарль.

– Пригласи граждан посланцев эндрского батальона. Двое солдат вошли в комнату вслед за Фаро, у которого были бумажные нашивки на рукавах.

– Что это значит? – спросил Пишегрю.

– Мой генерал, – сказал Фаро, поднося руку к киверу, – это делегаты эндрского батальона.

– А! – сказал Пишегрю, – они явились поблагодарить меня от имени батальона за денежное вознаграждение, которое я приказал им выдать...

– Наоборот, генерал, они пришли, чтобы отказаться от него!

– Отказаться! Почему? – спросил Пишегрю.

– Еще бы, мой генерал! – ответил Фаро, дергая шеей характерным, только ему присущим движением, – они говорят, что сражаются ради славы, ради величия Республики, ради защиты прав человека, вот и все! Насчет того, как сии сражались, они говорят, что сделали не больше своих товарищей и, следовательно, не должны иметь больше, чем они. Так, они слышали, – продолжал Фаро, снова дергая шеей (это движение выражало и радостные, и печальные чувства, которые он испытывал), – они слышали, что нужно лишь явиться к гражданину Эстеву, чтобы им выплатили жалованье сполна, – в это они, впрочем, не в силах поверить; если эта невероятная новость не выдумка, генерал, этого им достаточно.

– Значит, – сказал Пишегрю, – они отказываются?

– Да, наотрез, – ответил Фаро.

– А мертвые тоже отказываются? – спросил Пишегрю.

– Кто? – переспросил Фаро.

– Мертвые.

– Мы их не спрашивали, мой генерал.

– Ладно, скажи тем, кто тебя послал, что я не беру назад то, что дал; денежная награда, которую я пожаловал живым, будет отдана отцам и матерям, братьям и сестрам, сыновьям и дочерям убитых; есть ли у вас какие-нибудь возражения?

– Ни малейших, мой генерал.

– Отрадно слышать! Ну, а теперь подойди сюда.

– Я, мой генерал? – спросил Фаро, дергая шеей.

– Да, ты.

– Я здесь, мой генерал.

– Что это за нашивки? – спросил Пишегрю.

– Это мои капральские нашивки, гражданин.

– Почему из бумага?  
– У нас не было шерсти.  
– Кто же произвел тебя в капралы?  
– Мой капитан.  
– Как зовут твоего капитана?  
– Рене Савари.  
– Я его знаю, это мальчишка лет девятнадцати-двадцати.  
– И тем не менее он отчаянный рубака, согласитесь, мой генерал.  
– Почему он присвоил тебе чин капрала?  
– Вы сами знаете, – сказал Фаро с тем же движением.  
– Нет, я не знаю.  
– Вы велели мне взять двух пленных.  
– Ну и что?  
– Я взял в плен двух пруссаков.  
– Это правда?  
– Лучше прочтите, что написано на моей нашивке. Он поднял руку, чтобы его нашивка, на которой виднелись две строчки, оказалась на уровне глаз Пишегрю.

Генерал прочел:

«Егерь Фаро из второй роты эндрского батальона взял в плен двух пруссаков, вследствие этого я произвел его в капралы при условии, что главнокомандующий утвердит этот новый чин. Рене Савари».

– Я взял даже трех, – сказал Фаро, подходя ближе к генералу.  
– И где же третий?  
– Третьим был красивый молодой человек из «бывших», эмигрант; генералу пришлось бы его либо расстрелять – и это огорчило бы его, либо пощадить – и это бы его скомпрометировало.  
– Ну так что же?  
– Ну и я его отпустил... я отпустил его, так-то!  
– Молодец, – сказал Пишегрю, и в его глазах блеснула слеза, – я произвожу тебя в сержанты.

## XXVI. ПОСЛАНЕЦ ПРИНЦА

Я надеюсь, что егерь Фалу и сержант Фаро не изгладили из килей памяти ни гражданина Фенуйо, разъездного торговца винами фирмы Фрессине из Шалона, ни шести бутылок шампанского, которые он преподнес Пишегрю в знак благодарности.

Одну из этих бутылок еще предстояло осушить, когда генерал вновь занял свое место за столом.

Гражданин Фенуйо откупорил ее, точнее, попытался откупорить, но так неловко, что генерал улыбнулся и, взяв бутылку из рук коммивояжера, легко срезал все веревочки и сломал проволоку большим пальцем левой руки, сохранившим свою прежнюю силу.

– Давай, гражданин, – сказал он, – поднимем еще один бокал за успехи республиканской армии.

Коммивояжер поднял свой бокал выше всех.

– Пусть же, – сказал он, – генерал доблестно вершит дело, столь доблестно начатое им!

Все офицеры шумно присоединились к тосту гражданина Фенуйо.

– А теперь, – промолвил Пишегрю, – поскольку я согласен с гражданином, только что произнесшим тост, к которому вы поспешили присоединиться, нам нельзя терять ни секунды. Вчерашнее сражение лишь прелюдия к двум более серьезным битвам, ибо нам придется дать еще два сражения, чтобы отвоевать виссамбурские линии, отданные моим предшественником; послезавтра мы пойдем в атаку на Фрошвейлер, через четыре дня – на линии; через пять дней мы будем в Виссамбуре, а через шесть снимем блокаду Ландау.

Затем он обратился к Макдональду:

– Дорогой полковник, вам известно, что вы мой правый глаз; именно вам я поручаю обойти все посты и указать каждой части позицию, которую он должен занять; вы будете командовать левым крылом, Аббатуччи – правым, я – центром; следите за тем, чтобы солдаты ни в чем не нуждались; мы должны дать им сегодня немного больше, чем требуется, хотя и без излишеств.

Затем он сказал другим офицерам:

– Граждане, всем вам известны полки, вместе с которыми вы привыкли сражаться; вы знаете, на кого можете положиться. Соберите офицеров этих полков и передайте им, что сегодня же я напишу в Комитет общественного спасения, что послезавтра мы будем ночевать во Фрошвейлере и самое позднее через неделю – в Ландау; пусть они подумают о том, что я отвечаю за свое слово головой.

Офицеры встали из-за стола, и каждый собрался, пристегнув саблю и взяв шляпу, идти выполнять приказы главнокомандующего.

– Что до тебя, Шарль, – продолжал Пишегрю, – ступай в комнату, приготовленную нам, и проследи, чтобы, как обычно, положили три матраца; ты увидишь на стуле небольшой пакет, адресованный тебе, и вскроешь его; если то, что в нем лежит, придется тебе по вкусу, ты тотчас же воспользуешься, ибо его содержимое предназначено для тебя; если из-за контузии, что ты получил, почувствуешь боль в груди, пожалуйста мне, а не полковому хирургу.

– Спасибо, генерал, – отвечал Шарль, – но мне достаточно того компресса, который остановил пулю; что касается самой пули, – продолжал юноша, вынимая ее из кармана, – я сохраню ее, чтобы подарить отцу.

– И завернешь ее в свидетельство, что я тебе выпишу; ступай, мой мальчик, ступай.

Шарль вышел; Пишегрю взглянул на гражданина Фенуйо, по-прежнему сидевшего на своем месте, запер обе двери столовой на засов и снова уселся напротив гостя, весьма удивленного поведением генерала.

– Так, – вскричал он, – теперь поговорим с глазу на глаз, гражданин!

- С глазу на глаз, генерал? – переспросил коммивояжер.
- Сыграем в открытую.
- Буду очень рад.
- Ваше имя не Фенуйо, вы отнюдь не родственник адвоката из Безансона, вы не были пленником принца де Конде, вы его агент.
- Это правда, генерал.
- Вы остались здесь по его приказу, чтобы предложить мне перейти на сторону роялистов, рискуя, что вас расстреляют.
- Это тоже правда.
- Но вы сказали себе: «Генерал Пишегрю – храбрый человек; он поймет; чтобы пойти на то, на что пошел я, требуется некоторое мужество; он отклонит мои предложения и, возможно, не расстреляет меня, а отправит обратно к принцу со своим отказом».
- И это снова правда; однако, я надеюсь, что, выслушав меня...
- После того как я вас выслушаю, я прикажу вас расстрелять лишь в одном случае, предупреждаю вас заранее.
- В каком?
- Если вы посмеете назначить цену за мою измену.
- Или за вашу преданность.
- Не будем спорить о словах, давайте говорить по существу. Вы намерены отвечать мне на все вопросы?
- Да, генерал, я намерен отвечать на все вопросы.
- Я предупреждаю вас, что это будет допрос.
- Спрашивайте.
- Пишегрю достал из-за пояса пистолеты и положил их по обе стороны своей тарелки.
- Генерал, – засмеялся мнимый коммивояжер, – я предупреждаю: вы открываете вовсе не карты.
- Будьте любезны, положите пистолеты на камин, вы к нему ближе, чем я, – сказал Пишегрю, – они мне просто мешали.
- И он придвинул пистолеты к своему собеседнику; тот взял их, встал, положил на камин и вернулся на свое место.
- Пишегрю поблагодарил его кивком, и незнакомец отвечал ему тем же движением.
- Теперь, – сказал Пишегрю, – начнем.
- Я жду.
- Ваше имя?
- Фош-Борель.
- Откуда вы?
- Из Невшателя. Но я мог бы зваться Фенуйо и родиться в Безансоне, поскольку моя семья из Франш-Конте и покинула его лишь после отмены Нантского эдикта.
- В таком случае я по выговору узнал бы в вас земляка.
- Простите, генерал, но как вы узнали, что я не торговец шампанским?
- По тому, как вы открываете бутылки; в следующий раз, гражданин, выберите себе другое занятие.
- Какое?
- Хотя бы книгопродавца.
- Значит, вы меня знаете?
- Я слышал о вас.
- Что именно?
- Как о яром враге Республики и авторе роялистских брошюр... Простите, я полагаю, что должен продолжить допрос.

– Продолжайте, генерал, я к вашим услугам.

– Каким образом вы стали агентом принца де Конде?

– Мое имя впервые привлекло внимание господина регента <sup>note 11</sup>, когда оно было обозначено на роялистской брошюре господина д'Антрега, озаглавленной «Заметки о регентстве, сына Франции, дяди короля и регента Франции Луи Станисласа Ксавье»; во второй раз оно привлекло его, когда я собрал подписи жителей Невшателя под актом об объединении.

– В самом деле, – сказал Пишегрю, – я знаю, что с тех пор ваш дом стал местом встреч эмигрантов и очагом контрреволюции.

– Принц де Конде, как и вы, узнал об этом и прислал ко мне некоего Монгайяра, чтобы спросить, не хочу ли я к нему присоединиться.

– Вам известно, что этот Монгайяр – интриган? – спросил Пишегрю.

– Я опасаюсь этого, – ответил Фош-Борель.

– Он действует в интересах принца под двумя псевдонимами: Рок и Пино.

– Вы хорошо осведомлены, генерал, но у меня с господином де Монгайяром нет ничего общего: просто мы оба служим одному и тому же принцу, вот и все.

– В таком случае вернемся к принцу. Вы остановились на том, что он прислал к вам господина де Монгайяра, чтобы спросить, не хотите ли вы присоединиться к нему.

– Это так; он сообщил мне, что принц, ставка которого находилась в Дауэндорфе, примет меня с радостью; я тотчас же собрался в путь, добрался до Виссамбура, чтобы сбить со следа ваших шпионов и заставить их поверить, будто я направляюсь в Баварию. Таким образом, я спустился до Агно, а оттуда добрался до Дауэндорфа.

– Когда вы оказались здесь?

– Два дня назад.

– Каким образом принц заговорил с вами об этом союзе?

– Очень просто: меня представил ему шевалье де Конти. «Господин Фош-Борель», – сказал он принцу. Принц встал и подошел ко мне. Хотите, генерал, я повторю вам его обращение слово в слово?

– Слово в слово.

– «Дорогой господин Фош, – сказал он мне, – я знаю вас по рассказам моих соратников: они все как один десятки раз повторяли, как гостеприимно вы их принимали. Поэтому я пожелал вас видеть, чтобы предложить выполнить одно поручение, которое окажется для вас и почетным и полезным. Я давно понял, что нельзя рассчитывать на иностранцев. Возвращение французского трона нашей семье – это не цель, а предлог; враги остаются врагами, они будут делать все в своих интересах и ничего – в интересах Франции. Нет, именно изнутри следует добиваться реставрации, – продолжал он, сжимая мою руку, – я остановил свой выбор на вас, чтобы передать слова короля генералу Пишегрю. Конвент, приказавший Рейнской и Мозельской армиям соединиться, ставит его в подчинение Гоша. Он придет в ярость; воспользуйтесь моментом, чтобы убедить его перейти на службу монархии, объяснив ему, что Республика не более чем химера».

Пишегрю выслушал все это с олимпийским спокойствием, а в конце тирады улыбнулся. Фош-Борель ждал его ответа и приберег под конец упоминание о Гоше как главнокомандующем; но, как было сказано выше, Пишегрю встретил слова посланца с самой благодушной улыбкой.

– Продолжайте, – сказал он. Фош-Борель продолжал:

– Напрасно я говорил принцу, что недостойн подобной чести; я утверждал, что единственное мое желание – служить ему в меру своих сил, то есть быть его деятельным и ревностным сторонником. Принц покачал головой и сказал: «Господин Фош, либо вы, либо никто». И, дотронувшись до моей груди, продолжал: «У вас здесь есть все, чтобы стать лучшим в мире дипломатом в такого рода делах».

Если бы я не был роялистом, я стал бы сопротивляться и скорее всего придумал бы множество превосходных предлогов для отказа, но я роялист и помышлял лишь о том, чтобы так или иначе послужить делу монархии, и я уступил.

Я уже рассказал вам, генерал, каким образом я прибыл в Виссамбур, как перебрался из Виссамбура в Агно, из Агно – в Дауэндорф; мне оставалось лишь добраться из Дауэндорфа до вашей ставки в Ауэнхайме, но сегодня утром был замечен ваш передовой отряд.

«Пишегрю сокращает нам путь, – сказал принц, – это хорошая примета».

Тогда же было решено, что, если вас разобьют, я отправлюсь к вам, ведь вы знаете, какую участь готовит Конвент своим побежденным генералам; если же вы станете победителем, я подожду вас и проникну к вам с помощью выдумки, о которой я уже рассказал.

Вы стали победителем и раскусили эту уловку; теперь я в вашей власти, генерал, и в свою защиту упомяну лишь об одном смягчающем обстоятельстве: о моем глубоком убеждении, что я действую во благо Франции, а также о моем бесконечном желании избежать кровопролития.

Я верю в вашу справедливость и жду вашего приговора.

Фош-Борель встал, поклонился и вновь уселся с таким спокойным видом (по крайней мере, так казалось со стороны), как будто только что провозгласил тост за процветание родины на банкете патриотов.

## XXVII. ОТВЕТ ПИШЕГРЮ

– Сударь, – отвечал Пишегрю, употребив старое обращение, упраздненное во Франции год назад, – если бы вы были шпионом, я приказал бы вас расстрелять; если бы вы были обычным вербовщиком, что ставит на карту собственную жизнь ради богатства, я предал бы вас Революционному трибуналу и он казнил бы вас на гильотине. Вы доверенное лицо; ваше мнение, по-моему, зависит скорее от личных симпатий, нежели от принципов; я отвечу вам спокойно и серьезно, а вы передадите мой ответ принцу.

Я вышел из народа, но мое происхождение несколько не влияет на мои взгляды; они обусловлены не сословием, к которому я принадлежу по рождению, а проведенными мной историческими исследованиями.

Нации – это гигантские организмы, подверженные людским болезням; порой они страдают от истощения, и тогда следует лечить их средствами, поднимающими тонус; порой – от полнокровия, и тогда следует делать им кровопускание. Вы говорите, что Республика – это химера, и я с вами согласен, по крайней мере, в данный момент; но здесь вы заблуждаетесь, сударь. Мы живем не в эпоху Республики, мы живем в эпоху Революции. В течение ста пятидесяти лет нас разоряли короли, в течение трехсот лет нас угнетали вельможи, в течение девяти веков священники держали нас в рабстве, но настал миг, когда ноша оказалась непосильной для спины, что должна была ее нести, и восемьдесят девятый год заявил о правах человека, сравнял духовенство с другими подданными королевства и упразднил какие бы то ни было привилегии.

Оставался король; на его права еще никто не посягал.

Его спросили:

«Признаете ли вы Францию в том виде, какой она стала после наших преобразований, с ее тремя группами населения – третьим сословием, духовенством и дворянством, уравновешивающими друг друга; признаете ли вы конституцию, которая оставляет вам привилегии, предоставляет цивильный лист и налагает на вас обязанности? Обдумайте это здраво. Если вы отказываетесь – скажите „нет“ и уходите. Если вы согласны, скажите „да“ и поклянитесь».

Король сказал «да» и дал клятву.

На следующий день он покинул Париж и, будучи убежденным, что пересечет границу, поскольку все было предусмотрено, приказал передать представителям народа, которым дал накануне свое обещание, такие слова: «Меня вынудили поклясться, и моя клятва исходила из моих уст, а не из сердца; я слагаю с себя обязательства, вновь беру свои права и привилегии и вернусь вместе с неприятелем, чтобы наказать вас за непослушание».

– Вы забываете, генерал, – сказал Фош-Борель, – что те, кого вы называете неприятелем, состоят с ним в родстве!

– Вот в этом-то и беда, дорогой мой, – сказал Пишегрю, – беда в том, что родственники короля Франции являются врагами Франции, но что поделаешь, так оно и есть; в жилах Людовика Шестнадцатого, рожденного от принцессы Саксонской и сына Людовика Пятнадцатого, нет и половины французской крови; он женится на эрцгерцогине, и вот вам королевский герб: первая и третья четверти в нем лотарингские, вторая – австрийская и только последняя четверть принадлежит Франции. Вследствие этого, как вы сказали, когда король Людовик Шестнадцатый ссорится со своим народом, он взывает к своей родне, но, поскольку его родня является нашим врагом, он взывает к врагу, и, поскольку по его призыву враг вступает во Францию, король совершает преступление против народа, равносильное, если не более тяжкое, преступлению против монархии.

И тогда происходит ужасное: в то время как король молится за военные успехи своей родни, то есть за посрамление французского оружия, и королева, видя пруссаков в Вердене,

подсчитывает, через сколько дней они будут в Париже, – тогда-то и происходит это ужасное: вся Франция, обезумевшая от ненависти и патриотизма, поднимается и, дабы не быть окруженной врагами (австрийцами и пруссаками – спереди, королем и королевой – в центре, дворянами и аристократами – сзади), Франция борется со всеми сразу: ведет огонь по пруссакам в Вальми, расстреливает австрийцев в Жемапе, режет аристократов в Париже и отрубает головы королю и королеве на площади Революции. Благодаря этому страшному кровопусканию она считает себя исцеленной и переводит дух.

Но она заблуждается: родственники, которые вели войну под предлогом того, чтобы посадить Людовика XVI на трон, продолжают вести войну якобы для того, чтобы посадить на него Людовика XVII, но на самом деле с целью войти во Францию и расчленив ее. Испания желает отобрать Руссильон; Австрия – Эльзас и Франш-Конте; Пруссия – маркграфства Ансбах и Байрёт. Дворяне поделились на три группы – одни сражаются на Рейне и на Луаре, Другие плетут заговоры; повсюду войны: война с внешним врагом и гражданская война, борьба внутри страны и за ее пределами! Отсюда – тысячи людей, павших на полях сражений; отсюда – тысячи людей, убитых в тюрьмах; отсюда – тысячи людей, угодивших под нож гильотины. Отчего? Да оттого, что король, давший клятву, не сдержал ее и, вместо того чтобы броситься в объятия своего народа, то есть Франции, бросился в объятия своей родни, то есть врага.

– Значит, вы одобряете сентябрьские убийства?

– Я сожалею о них. Но что поделаешь против воли народа?

– Вы одобряете казнь короля?

– Я считаю ее ужасной. Но королю все же следовало держать свое слово.

– Вы одобряете политические казни?

– Я считаю их отвратительными. Но королю все же следовало не призывать врага.

– О! Что бы вы ни говорили, генерал, девяносто третий год – роковой год.

– Для монархии – да, для Франции – нет!

– Оставим в покое гражданскую войну, иностранную интервенцию, убийства и казни; но миллиарды пущенных в обращение ассигнатов – это же финансовый крах!

– Я это приветствую.

– Я тоже, в том смысле, что монархия будет стремиться укрепить бюджет.

– Бюджет укрепитсЯ благодаря разделу собственности.

– Каким образом?

– Разве вы не слышали, что Конвент объявил всю собственность эмигрантов и монастырей национальными имуществами?

– Да, ну и что?

– Разве вы также не слышали, что другой декрет Конвента разрешает покупать национальное имущество на ассигнаты, которые при покупках такого рода котируются по номинальной цене и не обесцениваются?

– Безусловно, слышал.

– Ну вот, сударь, в этом-то и все дело! На ассигнат в тысячу франков, которого не хватает, чтобы купить десять фунтов хлеба, бедняк сможет купить арпан земли и будет ее обрабатывать, обеспечивая хлебом себя и свою семью.

– Кто посмеет купить украденную собственность?

– Конфискованную собственность; это совсем другое дело.

– Все равно никто не захочет быть сообщником революционеров.

– Знаете ли вы, на какую сумму было продано в этом году земли?

– Нет.

– Более чем на миллиард. На будущий год ее будет продано вдвое больше.

– На будущий год! Неужели вы полагаете, что Республика сможет продержаться еще один год?

- Революция...
- Хорошо! Революция... Однако Верньо сказал, что революция подобна Сатурну, она пожирает всех своих детей.
- У нее много детей, и некоторые из них неудобоваримы. – Но вот уже пожраны жирондисты!
- Зато остались кордельеры.
- Со дня на день они будут проглочены якобинцами.
- Значит, останутся якобинцы.
- Полно! Разве есть у них такие люди, как Дантон или Камилл Демулен, чтобы считаться серьезной партией?
- У них есть такие люди, как Робеспьер, Сен-Жюст, и это единственная партия, идущая по верному пути.
- А вслед за ними?
- Я не могу этого разглядеть и боюсь, что Революция умрет вместе с ними.
- Но за это время прольется море крови!
- Все революции ее жаждут!
- Но эти люди – сущие тигры!
- В революции я боюсь вовсе не тигров, а лис.
- И вы согласитесь служить им?
- Да, ибо они будут также героями Франции; не Суллы и Марии истощают нации, а Калигулы и Нероны лишают их сил.
- Значит, каждая из названных вами партий, по-вашему, поочередно вознесется и падет?
- Если духу Франции присуща логика, так оно и будет.
- Поясните вашу мысль.
- Каждая из партий, что поочередно придут к власти, сотворит великие дела, наградой за которые ей будет благодарность наших детей, а также совершит тяжкие преступления, за которые ее покарают современники, и с каждой случится то же, что с жирондистами. Жирондисты убили короля – заметьте, я не говорю: монархию, – и вот, только что они были уничтожены кордельерами; кордельеры уничтожили жирондистов и, по всей вероятности, будут уничтожены якобинцами; наконец, якобинцы – последнее порождение Революции – будут в свою очередь уничтожены, но кем? Как я вам сказал, мне об этом ничего не известно. Когда их уничтожат, приходите ко мне, господин Фош-Борель, ибо тогда мы уже не будем враждовать.
- Что же мы будем делать?
- Вероятно, нам будет стыдно! Ведь я могу служить правительству, которое ненавижу, но никогда не буду служить правительству, которое я презираю; мой девиз – это девиз Тразеи: *Non sibi deesse* («Не поступать предосудительно»).
- Каков же ваш ответ?
- Вот он: по-моему, неудачно выбран момент для того, чтобы предпринимать что-либо против Революции, когда она доказывает свою силу, убивая как в Нанте, так и в Тулоне, Лионе и Париже по пятьсот человек в день. Надо подождать, пока она лишится сил.
- И что тогда?
- Тогда, – продолжал Пишегрю с серьезным видом, нахмутив брови, – поскольку нельзя, чтобы Франция, устав от борьбы, растратила свои силы на реакцию, поскольку я верю в великодушие Бурбонов не больше, чем в благоразумие народов, в день, когда я окажу содействие возвращению того или другого из членов данной семьи, – в тот самый день у меня в кармане будет лежать хартия в духе английской или конституция в духе американской, хартия или конституция, где будут закреплены права народа и оговорены обязанности монарха; это будет условие *sine qua non!*...<sup>note 12</sup> Я очень хочу быть Монком, но Монком XVIII века, Монком девяносто третьего года, готовящим почву для президента Вашингтона, а не для монархии Карла II.

– Монк действовал в своих интересах, генерал, – сказал Фош-Борель.

– Я ограничусь тем, что буду действовать в интересах Франции.

– Ну, генерал, его высочество смотрел вперед и на тот случай, если вы решитесь, собственноручно написал бумагу, в которой содержатся гораздо более выгодные предложения, чем условия, которые вы могли бы поставить.

Пишегрю, как всякий уроженец Франш-Конте, был заядлым курильщиком и, завершая разговор с Фош-Борелем, принялся набивать свою трубку; это важное дело было окончено, когда Фош-Борель показал ему бумагу, в которой содержались предложения принца де Конде.

– Однако, – улыбнулся Пишегрю, – я, кажется, дал вам понять, что, если я и решусь, это случится не раньше, чем через два-три года.

– Хорошо! Но ничто не мешает вам ознакомиться с этой бумагой сейчас, – возразил Фош-Борель.

– Хорошо! – сказал Пишегрю, – когда мы до этого доживем, придет время этим заняться.

И, даже не взглянув на бумагу, он поднес ее к печке; она загорелась. Затем он прикурил от нее и не выпускал бумагу из рук до тех пор, пока пламя полностью не уничтожило ее.

Фош-Борель, решив сначала, что это шутка, попытался удержать руку Пишегрю.

Но затем он понял, что это обдуманый поступок, и не стал ему препятствовать, невольно сняв шляпу.

В это же время стук копыт лошади, галопом въезжавшей во двор, привлек внимание обоих мужчин.

Вернулся Макдональд; его лошадь была в мыле: значит, он привез важное известие.

Пишегрю, закрывший дверь на засов, живо подбежал к двери и отпер ее. Он не хотел, чтобы его застали взаперти наедине с лжекоммивояжером, подлинная миссия и настоящее имя которого могли открыться позже.

Почти тотчас же дверь распахнулась и появился Макдональд – Его румяные от природы щеки, разгоряченные ветром и мелким дождем, были еще более красными, чем обычно.

– Генерал, – сказал он, – авангард Мозельской армии вступил в Пфафенхоффен; за ним следует вся армия, и я опередил генерала Гоша и его штаб всего на несколько секунд.

– Ах! – воскликнул Пишегрю, не скрывая своей радости, – вы, Макдональд, принесли мне добрую весть; я говорил, что через неделю мы отвоюем виссамбургские линии, но я ошибался: с таким генералом, как Гош, с такими воинами, как солдаты Мозельской армии, мы отвоюем их через четыре дня.

Не успел он договорить, как штаб Гоша, состоявший из молодых офицеров, можно сказать, ворвался в мощный камнем двор, который заполнили лошади и люди с плюмажами и развевающимися шарфами.

Старая мэрия содрогнулась до самого основания от этого шествия; казалось, что волны жизни, молодости, смелости, патриотизма и чести хлынули в ее стены.

В мгновение ока все всадники спешили и сбросили свои плащи.

– Генерал, – сказал Фош-Борель, – мне кажется, что мне лучше удалиться.

– Напротив, оставайтесь, – сказал Пишегрю, – вы сможете передать принцу де Конде, что девиз генералов Республики – это действительно Братство!

Пишегрю встал напротив двери, встречая того, кого правительство направило к нему в качестве главнокомандующего. Немного позади него держались Фош-Борель – по левую руку и полковник Макдональд – справа.

Было слышно, как толпа молодых офицеров поднимается по лестнице с радостным смехом, свидетельствующим о хорошем настроении и безопасности; но в тот момент, когда Гош, возглавлявший шествие, вышел вперед и все заметили Пишегрю, воцарилась тишина. Гош снял шляпу, и все, обнажив головы, вошли вслед за ним и встали в комнате, образовав круг.

Гош приблизился к Пишегрю и, низко поклонившись ему, сказал:

– Генерал, Конвент допустил ошибку: он назначил меня, двадцатипятилетнего солдата, главнокомандующим Рейнской и Мозельской армиями, забыв о том, что во главе Рейнской армии стоит один из величайших военачальников нашего времени; я исправлю эту ошибку, генерал, и перейду под ваше командование с просьбой обучить меня тяжкому и трудному военному ремеслу. Я обладаю интуицией, у вас есть знание; мне – двадцать пять лет, вам – тридцать три года: вы Мильтиад, я же – от силы Фемистокл; лавры, устилающие ваше ложе, не дают мне уснуть, и я прошу вас поделиться со мной частью этого ложа.

Затем, обернувшись к своим офицерам, которые стояли склонив головы и держа шляпы в руках, он сказал:

– Граждане, вот наш главнокомандующий; во имя блага Республики и славы Франции я прошу вас и, если нужно, приказываю вам подчиняться ему так же, как я сам буду ему подчиняться.

Пишегрю слушал его с улыбкой. Гош продолжал:

– Я пришел не за тем, чтобы лишить вас почетного права отвоевать виссамбургские линии: это дело, которое вы столь славно начали вчера; ваш план, должно быть, уже готов, и я приму его, будучи счастлив служить в этом славном бою вашим адъютантом.

Затем он простер руку к Пишегрю и сказал:

– Я клянусь подчиняться во всех военных делах моему старшему брату и учителю, моему кумиру, прославленному генералу Пишегрю. Теперь ваша очередь, граждане!

Все офицеры штаба Гоша простерли руки единым движением и дружно принесли присягу.

– Вашу руку, генерал, – сказал Гош.

– Дайте мне обнять вас, – отвечал Пишегрю.

Гош бросился в объятия Пишегрю, и тот прижал его к груди.

Затем он обернулся к Фош-Борелю, продолжая обнимать своего молодого собрата, и сказал:

– Расскажи принцу о том, что ты видел, гражданин, и передай ему, что мы начнем наступление завтра в семь утра; соотечественники должны быть честными по отношению друг к другу.

Фош-Борель поклонился.

– Последний из ваших соотечественников, гражданин, – сказал он, – умер вместе с Тразеей, чей девиз вы только что упомянули; вы подобны героям Древнего Рима.

С этими словами он вышел.

## XXVIII. ВЕНЧАНИЕ ПОД БАРАБАН

В тот же день, около четырех часов пополудни, два генерала склонились над большой военной картой департамента Нижний Рейн.

Шарль, писавший в нескольких шагах от них, был в чудесном фраке национального синего цвета с лазурными воротом и обшлагами, в красной шапочке секретаря штаба – все это он нашел в свертке, упомянутом генералом.

Генералы только что решили, что на следующий день, 21 декабря, будет предпринят поход, во время которого войска опишут дугу, отделяющую Дауэндорф от высот Рейсгоффена, Фрошвейлера и Вёрта, где укрылись пруссаки; когда будут взяты эти высоты и прервана связь с Виссамбуром, отрезанный от всех Агно будет вынужден сдаться. – К тому же армия выступит в три колонны; две из них должны будут атаковать с фронта; третья пройдет через лес и, соединившись с артиллерией, ударит пруссакам во фланг.

По мере того как принимались эти решения, Шарль их записывал, а Пишегрю ставил под ними свою подпись; затем пригласили командиров воинских частей, ждавших в соседней комнате; вскоре каждый командир отправился в свой полк и приготовился выполнять полученный приказ.

Между тем Гошу сообщили, что батальон арьергарда, не найдя для себя места в селении, отказался ночевать в поле и в нем назревал мятеж. Гош осведомился о номере батальона; ему ответили, что это третий.

– Хорошо, – сказал Гош, – передайте от моего имени третьему батальону, что ему не будет предоставлена честь сражаться в первых рядах.

И он продолжал невозмутимо отдавать приказы.

Четверть часа спустя четыре солдата непокорного батальона явились от имени своих товарищей просить у генерала прощения и умолять его разрешить мятежному батальону, собиравшемуся разбить лагерь в указанном месте, первым выступить навстречу неприятелю.

– Первым не получится, – сказал Пишегрю, – я обещал вознаградить эндрский батальон, и он пойдет впереди, третий батальон пойдет вторым.

Когда последние распоряжения были разосланы, под окном генерала слышались звуки шарманки, заигравшей мелодию патриотического гимна «Вперед, сыны отечества!».

Гош не придал значения этой серенаде, Пишегрю же, напротив, при первых звуках мелодичного инструмента прислушался, подошел к окну и открыл его.

В самом деле, это был шарманщик; с необычным усердием он вращал ручку ящика, висевшего у него на груди; поскольку было уже темно, Пишегрю не смог разглядеть лица игравшего.

Кроме того, двор был заполнен людьми, расхаживавшими взад и вперед, и Пишегрю, без сомнения, боялся заговорить с музыкантом. Поэтому он закрыл окно, хотя звуки шарманки не смолкали, и отошел от него.

Однако он сказал своему юному секретарю:

– Шарль, спустись, подойди к шарманщику и скажи ему: «Спартак»; если он скажет в ответ: «Костюшко» – приведи его. Если же он ничего не ответит – значит, я ошибаюсь, тогда оставь его в покое.

Шарль, ни о чем не спрашивая, встал с места и вышел.

Шарманка продолжала непрерывно играть «Марсельезу»; музыкант переходил от одного куплета к другому, не давая своему инструменту отдохнуть.

Пишегрю внимательно слушал.

Гош смотрел на Пишегрю и ждал, когда тот раскроет ему эту тайну.

Внезапно шарманка умолкла посреди такта.

Пишегрю, улыбаясь, кивнул Гошу.

Тотчас же дверь отворилась и появился Шарль в сопровождении шарманщика.

Некоторое время Пишегрю молча глядел на музыканта: он не узнавал его. Человек, которого привел Шарль, был выше среднего роста; он был одет как эльзасский крестьянин. Его длинные черные волосы падали на глаза, затененные вдобавок широкополой шляпой; вероятно, мужчине было лет сорок-сорок пять.

– Друг мой, – сказал Пишегрю музыканту, – мне кажется, что этот мальчик ошибся, и я имел дело не с тобой.

– Генерал, – ответил шарманщик, – не может быть ошибки в пароле, и, если вы имели дело со Стефаном Мойнжским, то он перед вами.

С этими словами он снял шляпу, отбросил волосы назад и выпрямился во весь рост; Пишегрю узнал поляка, приходившего к нему в Ауэнхайме: теперь у него были черные волосы и борода.

– Итак, Стефан? – спросил Пишегрю.

– Итак, генерал, – ответил шпион, – я кое-что знаю о том, чем вы интересуетесь.

– Хорошо, снимите вашу шарманку и подойдите сюда. Послушайте, Гош, это сведения о противнике. Я боюсь, – продолжал он, обращаясь к Стефану, – что ты не успел собрать их полностью.

– О Вёрте – нет, поскольку один из жителей города берется предоставить их вам, когда мы будем во Фрошвейлере, но относительно Фрошвейлера и Рейсгоффена я могу рассказать вам все, что вы пожелаете.

– Рассказывайте.

– Неприятель оставил Рейсгоффен, чтобы сосредоточиться во Фрошвейлере и Вёрте; ему известно, что обе армии соединились, и он собрал все свои силы в двух пунктах, которые собирается защищать до последнего вздоха; в обоих этих пунктах, превосходно укрепленных природой, недавно были воздвигнуты новые оборонительные сооружения – ретраншементы, редуты и бастионы; неприятель, по-видимому, сосредоточил у моста в Рейсгоффене, который он собирается защищать, а также на высотах Фрошвейлера и Вёрта двадцать две тысячи человек и до тридцати пушек (пять из них были брошены на защиту моста). Теперь, – продолжал Стефан, – поскольку, вероятно, вы начнете с атаки Фрошвейлера, вот план местности, занятой неприятелем. Город удерживают солдаты принца де Конде; это французы, и я не питаю к ним неприязни. К тому же, как только вы овладеете высотами, генерал, вы будете господствовать над городом, и, следовательно, он ваш. Что касается Вёрта, я ничего не обещаю, но, как я говорил, надеюсь помочь вам взять город без боя.

Генералы поочередно рассмотрели план, сделанный с искусством превосходного инженера.

– Клянусь честью, дорогой генерал, – сказал Гош, – вам повезло, что у вас есть шпионы, которых можно было бы сделать офицерами инженерных войск.

– Дорогой Гош, – ответил Пишегрю, – этот гражданин – поляк; он не шпионит, а мстит за себя.

Затем, обернувшись к Стефану, он продолжал:

– Спасибо, что ты сдержал свое слово и даже больше, но твое поручение выполнено лишь наполовину. Берешься ли ты отыскать для нас двух проводников, настолько знающих окрестности, что не заблудятся самой темной ночью? Ты пойдешь рядом с одним из них и убьешь его при малейшем замешательстве с его стороны. Я пойду рядом с другим; вероятно, у тебя нет пистолетов, так что держи.

Генерал вручил Стефану два пистолета, и тот взял их с радостью и гордостью.

– Я найду надежных проводников, – сказал Стефан, по обыкновению не тратя лишних слов, – сколько времени вы мне даете?

– Полчаса; самое большое – сорок пять минут.

Лжемузыкант вновь надел свою шарманку и направился к двери; не успел он взяться за ручку, как в дверном проеме показалась плутоватая физиономия парижанина Фаро.

– О, простите, мой генерал! – вскричал он, – я думал, что вы один, но, если хотите, я могу выйти и поскрестись, вис скреблись в дверь бывшего тирана.

– Нет, – ответил Пишегрю, – не стоит; раз ты здесь, добро пожаловать. Затем, повернувшись к генералу Гошу, он сказал:

– Дорогой генерал, я рекомендую вам одного из моих храбрецов; правда, он боится волков, зато не боится пруссаков. Сегодня утром он взял двух пленных, и за это я пришел к его рукаву галуны сержанта.

– Черт возьми! – вскричал Фаро, – генералов больше, чем нужно; значит, у меня будет два свидетеля вместо одного.

– Позволь заметить, Фаро, – сказал Пишегрю доброжелательным тоном, каким он разговаривал с солдатами, когда был в духе, – что я имею удовольствие видеть тебя сегодня во второй раз.

– Да, мой генерал, – отвечал Фаро, – бывают такие удачные деньки, так же как бывают другие, неудачные, когда нельзя быть на поле боя, чтобы не попасть в переплет.

– Я предполагаю, – сказал Пишегрю со смехом, – что ты явился не для того, чтобы учить меня трансцендентной философии.

– Мой генерал, я пришел, чтобы просить вас быть моим свидетелем.

– Твоим свидетелем! – вскричал Пишегрю, – ты что, собираешься драться?

– Хуже, мой генерал, я женюсь!

– Ба! На ком же?

– На Богине Разума.

– Тебе повезло, плут, – сказал Пишегрю, – это самая красивая и порядочная девушка в армии. Как это случилось? Ну-ка, расскажи нам об этом.

– О, очень просто, мой генерал; мне не нужно говорить вам, что я парижанин, не так ли?

– Да, я это знаю.

– Ну, так вот, Богиня Разума тоже парижанка; мы с ней из одного квартала; я любил ее, и она была ко мне благосклонна, но тут появляется процессия под лозунгом «Отечество в опасности!», с черными знаменами, под бой барабана; затем гражданин Дантон приходит в наше предместье с призывом: «К оружию! Враг на расстоянии четырехдневного перехода от Парижа». Я был тогда подручным столяра; все это меня потрясло: враг в четырех днях от Парижа! Родина в опасности! «Ты должен спасти родину, Фаро, и дать отпор врагу!» – сказал я себе. Я швыряю рубанок ко всем чертям, хватаю ружье и бегу в муниципалитет, чтобы завербоваться в армию. В тот же день я иду к Богине Разума и говорю ей, что ее нежные глаза довели меня до отчаяния и я сделался солдатом, чтобы быстрее свести счеты с жизнью; и тут Роза говорит мне – ее зовут Роза... Роза Шар-леруа, – и тут Роза Шарлеруа, занимавшаяся стиркой тонкого белья, говорит мне:

«Если бы моя бедная матушка не была больна, я тоже пошла бы в армию, и это так же верно, как то, что есть только один Бог, которого, как видно, скоро свергнут с престола».

«Ах, Роза, – говорю ей, – женщины не служат в армии».

«Ну, а как же маркитантки?» – отвечает она.

«Роза, – говорю я ей, – я буду писать тебе раз в две недели, чтобы ты знала, где я; если ты пойдешь в армию, вступи в мой полк».

«Решено», – отвечает Роза.

Мы пожали друг другу руки, поцеловались и – вперед, Фарб! После Жемапа, где мой полк был здорово потрепан, нас) объединили с волонтерами департамента Эндр и перебросили на Рейн. Кого же я встречаю полтора-два месяца тому назад?.. Розу Шарлеруа! Ее бедная мать

умерла; во время какого-то праздника, как самая красивая и порядочная девушка квартала, Роза была назначена на роль Богини Разума; после этого, клянусь честью, она сдержала данное мне слово и, едва сойдя со сцены, поступила на военную службу. Я узнаю о ее приезде, бегу к ней и хочу ее поцеловать.

«Бездельник! – говорит она мне, – ты даже не капрал!»

«Что ты хочешь, Богиня! Я не честолюбив».

«Ну, а я честолюбива, – отвечает она, – поэтому, пока не станешь сержантом, не ищи со мной встречи, хотя бы для того, чтобы выпить глоток».

«Скажи, наконец, в тот день, когда я буду сержантом, ты станешь моей женой?»

«Клянусь знаменем полка!»

Она сдержала слово, мой генерал, и вот через десять минут мы венчаемся.

– Где же?

– Во дворе, под вашими окнами, генерал.

– Какой же священник вас венчает?

– Полковой барабанщик.

– А! Вы венчаетесь под барабан?

– Да, мой генерал, Роза хочет, чтобы все было как полагается.

– В добрый час, – улыбнулся Пишегрю, – я узнаю Богиню Разума; скажи ей: раз она выбрала меня своим свидетелем, я дам ей приданое.

– Дадите ей приданое, мой генерал?

– Да, осла и два бочонка водки в придачу.

– Ах, мой генерал, из-за этого я не смею больше ни о чем вас просить.

– Продолжай.

– По правде говоря, я хотел попросить вас об этом не от себя, а от имени товарищей... Ну, мой генерал, надо, с вашего позволения, чтобы этот день закончился балом, как он и начался.

– В таком случае, – заявил Гош, – я, как второй свидетель, оплачу расходы на бал.

– А мэрия предоставит помещение! – подхватил Пишегрю, – но пусть все знают: в два часа ночи бал закончится, и в половине третьего мы выступаем; мы должны пройти до рассвета четыре лье; я предупредил вас; пусть те, кто захочет спать, спят, а те, кто захочет плясать, пляшут. Мы посмотрим на венчание с балкона; когда все будет готово, барабанщик подаст нам сигнал своей дробью.

Окрыленный всеми этими обещаниями, Фаро устремился вниз по лестнице, и вскоре во дворе послышался гул голосов, свидетельствующий о появлении сержанта.

Два генерала, оставшись наедине, выработали окончательный план предстоящего сражения.

Колонна, которая должна была выступить немедленно под командованием полковника Рене Савари, пойдет форсированным маршем, чтобы в поддень войти в Нёвиллер, расположенный позади Фрошвейлера, куда она устремится при первом залпе пушки и атакует пруссаков с фланга.

Вторая колонна под командованием Макдональда проследует от Цойцеля до Нидерброна. Оба генерала будут сопровождать эту колонну.

Третья колонна будет атаковать мост в Рейсгоффене и попытается захватить его. Если неприятель удержится, она будет отвлекать внимание на себя, а две другие колонны тем временем предпримут обходной маневр.

Этой третьей колонной будет командовать Аббатуччи.

Едва лишь были приняты эти решения, как послышалась барабанная дробь, извещавшая генерала, вернее генералов, что для открытия свадебной церемонии ждут только их.

Они не заставили себя ждать и вышли на балкон.

При их появлении грянули оглушительные крики «Виват!». Фаро приветствовал генералов на свой лад, а Богиня

Разума зарделась как вишенка. Все офицеры штаба окружили будущих новобрачных; впервые эта необычная церемония, которая столько раз повторялась в течение трех великих лет Революции, совершалась в Рейнской армии.

– Давай, – сказал Фаро, – на место, Спартак. Барабанщик, понукаемый сержантом, забрался на стол, перед которым встали Фаро и его нареченная.

Спартак ударил в барабан, а затем громогласно, чтобы никто из присутствующих не упустил ни слова из его речи, объявил:

– Внимайте закону! Поскольку на биваках не всегда можно найти чиновника с гербовой бумагой и трехцветным шарфом, чтобы открыть врата Гименея, я, Пьер Антуан Бишонно, именуемый Спартаком, старший барабанщик батальона департамента Эндр, приступаю к законному бракосочетанию Пьера Клода Фаро и Розы Шарлеруа, маркитантки двадцать четвертого полка.

Спартак остановился и ударил в барабан; все барабанщики эндрского батальона и двадцать четвертого полка последовали его примеру.

Когда грохот барабанов смолк, Спартак сказал:

– Вступающие в брак, подойдите ко мне. Будущие супруги сделали еще шаг к столу.

– В присутствии граждан генералов Лазара Гоша и Шарля Пишегрю, в присутствии батальона департамента Эндр, двадцать четвертого полка и всех тех, кто смог собраться во дворе мэрии, именем единой и неделимой Республики я соединяю и благословляю вас!

Спартак снова ударил в барабан, в то время как два сержанта эндрского батальона простерли над головами новобрачных саперный фартук, призванный заменить балдахин.

Затем Спартак продолжал:

– Гражданин Пьер Клод Фаро, обещаешь ли ты любить и оберегать свою жену?

– Еще бы! – отвечал Фаро.

– Гражданка Роза Шарлеруа, ты обещаешь своему мужу постоянство, верность и сколько угодно стаканчиков?

– Да, – отвечала Роза Шарлеруа.

– Именем закона вы теперь муж и жена. Все ваши многочисленные дети станут детьми полка. Погодите же, не уходите! Последнее напутствие барабана!

Раздался грохот двадцати пяти барабанов, затем по знаку Спартака барабанная дробь смолкла.

– Без этого вы не были бы счастливы, – сказал он. Два генерала аплодировали и смеялись.

Но все звуки

потонули в криках «Виват!» и «Ура!», вслед за которыми послышался звон бокалов.

## XXIX. ПРУССКИЕ ПУШКИ ПО ШЕСТЬСОТ ФРАНКОВ ЗА ШТУКУ

В шесть часов утра, то есть в тот час, когда солнце оспаривало у густого тумана право освещать мир; в тот час, когда первая колонна, выступившая из Дауэндорфа в девять часов вечера, прибыла во главе с Савари в Егерталь, где ей предстояло отдохнуть пять-шесть часов; в тот час, когда загрохотала пушка на мосту Рейсгоффена, атакованном третьей колонной во главе с Аббатуччи, – вторая колонна, самая сильная из трех, под командованием Гоша и Пишегрю переправилась через водный поток в Нидерброне и без боя овладела селением.

Когда первый этап пути длиной в четыре льё был позади, солдатам дали немного отдохнуть; во время завтрака Богиня Разума прошла по рядам с ослом и двумя бочонками водки; один бочонок был опустошен под крики «Да здравствует Республика!», и около восьми часов утра войско выступило во Фрошвейлер, до которого оставалось от силы три четверти льё.

Пушка в Рейсгоффене грохотала без передышки.

Четверть часа спустя артиллерия неожиданно умолкла. Была взята переправа или же Аббатуччи был вынужден отступить?

Генерал подозвал Думерка.

– У вас хорошая лошадь, капитан? – спросил он.

– Превосходная.

– Вы сможете на ней перепрыгнуть через канавы и преграды?

– Через что угодно.

– Скачите во весь опор в сторону Рейсгоффенского моста, доставьте мне известия или умрите.

Думерк уехал; через десять минут с той стороны, куда он направился, галопом прискакали двое всадников.

Это были Думерк и Фалу.

Проехав две трети пути, капитан повстречал доблестного егеря, посланного Аббатуччи с сообщением, что он форсировал мост и движется на Фрошвейлер. Фалу взял в плен прусского офицера, и Аббатуччи произвел Фалу в капралы. Аббатуччи просил генерала утвердить это новое звание.

Фалу, утвержденный в чине капрала, повез Аббатуччи устный приказ генерала двигаться на Фрошвейлер и держать город под прицелом, в то время как он будет штурмовать высоты и в случае надобности пришлет подкрепление.

Все это время колонна двигалась без остановок; впереди уже показались высоты Фрошвейлера.

Между Нидерброном и Фрошвейлером раскинулся небольшой лес; войско шло через поле, по бездорожью, и Пишегрю, опасаясь засады, приказал двадцати солдатам и сержанту прочесать лес.

– Хорошо! – сказал Думерк, – но не стоит, генерал, беспокоить целый взвод из-за такой ерунды.

И, путив свою лошадь вскачь, он проехал лес из конца в конец, затем пересек его еще раз и вернулся, оказавшись в трехстах шагах от того места, где въезжал в лес.

– Тут никого нет, генерал, – доложил он. Лес остался позади.

Но когда они поравнялись с оврагом, авангард колонны был неожиданно встречен яростным огнем.

В извилинах оврага и перелесках, которыми была усеяна местность, засели триста-четырееста егерей.

Оба генерала построили войско в колонну для атаки.

Пишегрю приказал Шарлю оставаться в арьергарде, но мальчик столь настойчиво просил разрешить ему находиться среди офицеров штаба, что генерал согласился.

Фрошвейлер раскинулся у подножия холма, ошестинившегося редутами и пушками; справа от него, приблизительно на расстоянии трех четвертей лёё, виднелась колонна Аббатуччи: догоняя войска, пытавшиеся защищать мост, она приближалась к городу.

– Друзья, – сказал Пишегрю, – будем ли мы для атаки поджидать наших товарищей: они уже взяли мост и тем самым завоевали свою долю победы и славы, или, подобно им, оставим только себе почетное право захватить редуты, которые перед нами? Это будет трудно, предупреждаю вас.

– Вперед, вперед! – дружно прокричал эндрский батальон, находившийся во главе колонны.

– Вперед! – закричали солдаты Гоша, что накануне взбунтовались и, подчинившись приказу, заслужили право идти вторыми.

– Вперед! – прокричал генерал Дюбуа, командующий арьергардом Мозельской армии и оказавшийся в результате поворота назад во главе авангарда.

В тот же миг барабаны и трубы заиграли сигнал к наступлению; первые ряды запели «Марсельезу»; земля содрогнулась от топота ног трех-четырёх тысяч людей, и человеческий вихрь устремился в атаку; солдаты шли пригнувшись, со штыками наперевес.

Не успели они сделать и сотни шагов, как холм запылал, словно вулкан; было видно, как в плотной массе людей зазияли кровавые борозды, точно прорезанные невидимым плугом, но они исчезли столь же быстро, как появились.

«Марсельеза» и крики «Вперед!» не умолкали; первые цепи французов вплотную подошли к укреплениям, но тут грянул второй залп артиллерии и ядра проделали в рядах атакующих новые бреши.

Ряды сомкнулись, как и в первый раз, и на смену воодушевлению пришла слепая ярость; песни начали затихать, хотя барабаны и трубы, сопровождавшие пение, продолжали звучать, и атакующие побежали, не соблюдая равнения.

Первый ряд уже почти добежал до окопов, когда орудия загрохотали в третий раз; на этот раз артиллерия, заряженная картечью, выплеснула на ударную колонну подлинный шквал огня.

Ряды наступающих дрогнули под натиском картечи. Теперь смерть уже не выкашивала среди них длинные борозды, а поражала людей, как град, который уничтожает посевы; песни и музыка смолкли, и возраставший людской прилив не только остановился, но и слегка отхлынул.

Музыканты вновь заиграли гимн победы; под генералом Дюбуа (как уже было сказано, он возглавлял атаку) убили лошадь, и его сочли убитым, а он выбрался из-под лошади, встал, поднял свою шляпу на острие сабли и закричал: «Да здравствует Республика!»

Этот крик был подхвачен одновременно всеми, кто остался жив, и ранеными, у которых еще оставались силы кричать. Недолгое замешательство, заметное всем, кончилось, снова был дан сигнал к атаке, штыки опустились, и вместо песен и криков послышался лвиный рев.

Первые ряды уже обступили редут и гренадеры цеплялись за неровности бруствера, готовясь к штурму, когда тридцать орудий прогремели разом с оглушительным грохотом, подобно взорвавшейся бочке с порохом.

На сей раз генерал Дюбуа упал, чтобы уже не встать: ядро разорвало его пополам; первые ряды скрылись во взметнувшемся вихре огня, словно канув в бездну.

Теперь колонна не только дрогнула, но и отступила, и в мгновение между редутами и первым рядом неведомо как образовалось пространство шириной шагов в сорок, заполненное убитыми и ранеными.

И тут все стали свидетелями героического поступка: Гош, прежде чем Пишегрю, как раз посылавший двух своих адъютантов к колонне Аббатуччи с приказом поспешить, смог разгадать его замысел, бросил шляпу на землю, чтобы все его узнали, кинулся вперед с непокрытой

головой и саблей в руке, заставил лошадь перескочить через мертвых и умирающих и, приподнявшись на стременах, закричал посреди этого пустого пространства:

– Солдаты! Даю по шестьсот франков за каждую прусскую пушку!

– Продано! – дружно откликнулись солдаты. Музыка, смолкнувшая было во второй раз, зазвучала с новой силой, и все увидели, как, невзирая на грохот пушек, извергавших ядра и картечь, под градом пуль, опустошавших плотно сомкнутые ряды, Гош, за которым следовала обезумевшая от ненависти и жажды мести толпа, не соблюдавшая больше равенства, устремился на приступ первого редута, за что-то зацепился и, воспользовавшись своей лошадью как точкой опоры, первым бросился в гущу неприятеля.

Пишегрю положил руку на плечо Шарля, неотрывно смотревшего на это жуткое зрелище и тяжело дышавшего.

– Шарль, ты когда-нибудь видел полубога?

– Нет, нет, генерал, – ответил мальчик.

– Ну, так погляди на Гоша, – сказал Пишегрю, – сам Ахилл, сын Фетиды, никогда не был более величественным и прекрасным.

В самом деле, высокий, окруженный врагами, которых он рубил саблей, Гош, с длинными, развевавшимися на смертоносном ветру волосами, с бледным челом и презрительной усмешкой на прекрасном лице, являл собой законченный образ героя, сеющего смерть и в то же время презирающего ее.

Каким образом солдаты поднялись вслед за ним? Как они преодолели брустверы высотой в восемь-десять футов? За что они цеплялись, чтобы добраться до вершины? Все это невозможно рассказать, изобразить, описать; тем не менее, не прошло и пяти минут, как Гош бросился на приступ, а редут уже был заполнен французскими солдатами, ходившими по трупам ста пятидесяти убитых пруссаков.

И тогда Гош прыгнул на бруствер и, подсчитав пушки редута, воскликнул:

– Четыре пушки стоимостью в две тысячи четыреста франков – первым рядам ударной колонны!

Некоторое время он стоял перед всей армией словно живое знамя Революции, подставляя себя пулям, которым он служил прекрасной мишенью, но ни одна из них не поразила его.

Затем он воскликнул громовым голосом:

– Идем брать остальные! Да здравствует Республика! И все они – генерал, офицеры и солдаты – бросились толпой на укрепления с криками и боевыми песнями, под звуки труб и бой барабанов.

При первом пушечном залпе эмигранты, державшиеся наготове, пошли вперед, но столкнулись с авангардом Аббатуччи: он наступал, не соблюдая равенства; с этой атакой пришлось считаться, так что они не смогли помочь пруссакам и были вынуждены защищаться сами; Аббатуччи по

Приказу Пишегрю смог даже выделить полторы тысячи человек, которые помчались к генералу во весь опор вслед за двумя его адъютантами.

Пишегрю, видя, что Аббатуччи прекрасно обходится для защиты оставшимися у него полутора тысячами солдат, встал во главе присланного отряда и поспешил на помощь главному корпусу, яростно штурмовавшему редут; эти тысяча пятьсот человек, со свежими силами, воодушевленные утренней победой, одним ударом прорвали второй ряд батарей.

Канониры были убиты на месте, и пушки, которые нельзя было повернуть против пруссаков, заклепаны.

Невзирая на огонь, оба генерала одновременно оказались на склоне холма, откуда открывалась панорама всего поля боя при Нешвиллере, и издали торжествующий крик: темные густые ряды с блестящими ружьями и трехцветными плюмажами на шляпах, со знаменами, накренившимися, как мачты во время шторма, подходили форсированным маршем; то были

Макдональд и первая колонна; вовремя, как было намечено, они явились на место встречи не для того, чтобы решить участь сражения – она была уже решена, – а чтобы принять в нем участие.

При их появлении среди пруссаков началась паника: каждый думал лишь о том, как убежать; они перелезали через брустверы редутов, прыгали вниз с вершины укреплений и не спускались, а скатывались по столь крутому склону, что никому в свое время и в голову не пришло его укреплять.

Но Макдональд, предприняв быстрый маневр, окружил гору, и его солдаты встретили беглецов штыками.

Эмигранты, все еще продолжавшие сражаться с упорством французов, бьющихся с соотечественниками, поняли, завидев пруссаков, что битва проиграна.

Пехота медленно отступала под прикрытием кавалерии, и непрерывные дерзкие атаки ее вызывали восхищение противника.

Пишегрю послал победителям приказ не преследовать отступавших эмигрантов под предлогом того, что солдаты, вероятно, устали, и, напротив, приказал бросить всю конницу вдогонку за пруссаками, которые смогли соединиться лишь за Вёртом.

Затем оба генерала поспешили на вершину холма, чтобы одним взглядом окинуть поле боя, и каждый из них поднялся наверх с той стороны склона, которую атаковал.

Два победителя заключили там друг друга в объятия; один из них поднял свою окровавленную саблю, другой – пробитую в двух местах шляпу; оба они предстали перед взорами армии в клубах дыма, все еще поднимавшегося в небо как после извержения вулкана, в ореоле окутывавшей их славы и показались всем подобными статуям исполинов.

При виде этого зрелища нескончаемый крик «Да здравствует Республика!» пронесся по склону горы и, постепенно стихая, затерялся и угас на равнине, слившись с жалобными стонами раненых и последними вздохами умирающих.

### XXX. ШАРМАНКА

Наступил полдень; победа окончательно была за нами. Разбитые пруссаки покидали поле боя, усеянное убитыми и ранеными, оставив после себя двадцать четыре зарядных ящика и восемнадцать пушек.

Пушки приволокли к двум генералам; тем, кто их захватил, заплатили за них цену, назначенную в начале операции, – по шестьсот франков за орудие.

Эндрский батальон захватил две пушки.

Солдаты страшно устали сначала от ночного перехода, а потом от трех долгих часов сражения.

Генералы приказали сделать привал на поле боя и пообедать, пока один из батальонов будет штурмовать Фрошвейлер.

Трубы затрубили, и барабаны забили сигнал к привалу; винтовки были составлены в козлы.

В одно мгновение французы снова разожгли огонь в еще не успевших погаснуть кострах пруссаков; перед выходом из Дауэндорфа им были розданы пайки на три дня; получив накануне запоздалое жалованье, каждый счел уместным присоединить к повседневной казенной еде либо колбасу, либо копченый язык, либо жареного цыпленка, либо кусок ветчины.

У всех были полные котелки.

Среди солдат попадались менее запасливые, у которых был лишь черствый хлеб, но они открывали ранцы своих убитых товарищей и находили там в изобилии то, чего им не хватало.

В это же время хирурги со своими помощниками обходили поле боя и отправляли во Фрошвейлер раненых, которые были в состоянии выдержать дорогу и подождать перевязки, а других оперировали прямо на месте сражения.

Оба генерала обосновались на полпути к вершине горы, в редуте, где всего часом раньше размещался генерал Ходж.

Богиня Разума, ставшая гражданкой Фаро, главная маркитантка Рейнской армии, не имевшая соперницы в Мозельской армии, заявила, что позаботится об обеде для генералов.

В укреплении, напминавшем каземат, стояли стулья и стол с сияющими чистотой тарелками, вилками и ножами; рядом, на доске, стояли бокалы и лежали салфетки. Остальное можно было рассчитывать найти в фургоне генерала, но шальное ядро разнесло повозку со всем ее содержимым на куски; эту дурную весть Леблан, никогда не рисковавший жизнью напрасно, принес своему начальнику, когда гражданка Фаро заканчивала размещать на столе двенадцать тарелок, двенадцать бокалов, двенадцать салфеток, двенадцать приборов, а вокруг стола – двенадцать стульев.

Однако еды и напитков на столе не было.

Пишегрю уже собирался попросить копченостей у солдат в качестве добровольного оброка, но тут послышался крик, казалось исходивший из-под земли, как голос отца Гамлета:

– Победа! Победа!

Это был голос Фаро: он только что отыскал люк, спустился по лестнице вниз и обнаружил в погребе кладовую, полную провизии.

Через десять минут генералам был подан обед, и старшие офицеры их штаба уселись за стол вместе с ними.

Невозможно описать эту братскую трапезу, во время которой солдаты, офицеры и генералы сообща вкушали хлеб бивака, подлинный хлеб равенства и братства. Всем этим людям, предстояло, как солдатам из золотой тысячи Цезаря, обойти вокруг света; те, кто вышел в поход из стен Бастилии, начинали ощущать беспредельную уверенность в себе, что дает моральное превосходство над противником и приносит победу! Они не знали, куда лежит их путь, но были

готовы идти, куда прикажут. Перед ними раскинулся целый мир; позади них была Франция, их единственная родная земля с ее добрым сердцем, которая дышала, жила, любила своих детей; она содрогалась от восторга – когда они одерживали победу, от скорби – когда они терпели поражение, и от благодарности – когда они умирали за нее.

О! Тот, кто может завоевать эту Корнелию народов, тот, кто способен стать предметом ее гордости, возложит на ее голову лавровый венок и вручит ей меч Карла Великого, Филиппа Августа, Франциска I или Наполеона, – только тот знает, сколько молока можно исторгнуть из ее груди, сколько слез – из ее глаз и крови – из ее сердца!

В эту пору, когда зарождался XIX век, еще увязая в грязи XVIII века, но уже касаясь головой облаков, в этих первых сражениях, когда один-единственный народ бросал вызов остальному миру во имя свободы и счастья всех народов, было что-то столь величественное, гомерическое, возвышенное, что я бессилён описать это, и, тем не менее, я принялся за данную книгу именно для того, чтобы воссоздать эту эпоху. Нет ничего печальнее для поэта, чем осознавать великое и в то же время, трепеща и задыхаясь от недовольства собой, быть не в силах передать собственные ощущения.

За исключением пятисот человек, отправленных на штурм Фрошвейлера, вся армия, как уже было сказано, расположилась на поле боя, торжествуя победу и уже позабыв, какой ценой была завоевана она; конница, посланная в погоню за пруссаками, вернулась, захватив тысячу двести пленных и шесть артиллерийских орудий.

Вот о чем поведали кавалеристы. Сразу же за Вёртом второй полк карабинеров, третий гусарский и тридцатый егерский полки столкнулись с главными силами пруссаков, окружившими полк колонны Аббатуччи; заблудившись, полк оказался в гуще неприятеля и, будучи атакован со всех сторон силами, превосходившими его в десять раз, образовал каре; солдаты отстреливались из ружей с четырех сторон.

Звуки стрельбы привлекли внимание их товарищей. Три полка тут же решительно пошли в атаку и прорвали железное кольцо, окружавшее их соратников; те, почувствовав поддержку, построились в колонну, выставили вперед штыки и напали на противника. Кавалерия и пехота стали отступать в направлении французской армии, но значительная воинская часть, выйдя из Вёрта, встала поперек дороги и преградила им путь; бой снова вспыхнул с неожиданной яростью. На каждого француза приходилось по четыре пруссака, и, возможно, французы бы не выдержали, но тут полк драгун тоже устремился в бой с обнаженными саблями, пробился к пехоте и освободил ее; пехота, вновь открыв непрерывный огонь, в свою очередь смогла действовать в образовавшемся вокруг нее пустом пространстве. Конница устремилась в это пространство и еще больше расширила его. И тогда все, кавалеристы и пехотинцы, распевая «Марсельезу», в единодушном порыве разом бросились на противника, рубя его саблями, коя штыками, и продвигались, стягиваясь вокруг пушек неприятеля, оттесняя их к бивакам с криками «Да здравствует Республика!».

Оба генерала верхом отправились в город, чтобы выработать необходимые условия обороны на случай, если пруссаки предпримут ответное наступление и постараются отвоевать город; намеревались они также посетить госпитали.

Все крестьяне из окрестных деревень и сотня рабочих из Фрошвейлера должны были в принудительном порядке хоронить убитых; семьсот-восемьсот человек принялись рыть у подножия холмов огромные ямы, шириной в два метра, длиной тридцать и глубиной в два метра, куда положили бок о бок пруссаков и французов, которые утром еще были живы и воевали друг с другом, а вечером смерть примирила их и уложила в общую могилу.

Когда генералы вернулись из города, все, кто пал в этот овеянный славой день, покоились уже не на поле битвы, а в земле; на ней уже не осталось следов сражения, за исключением восьми-десяти волнообразных линий захоронений, набегавших на подножие холмов, подобно последним затихавшим волнам отлива.

Город был слишком мал, чтобы вместить всю армию, но с хваткой и быстротой, присущей французским солдатам, соломенный городок как по волшебству вырос на том же поле, где утром свистели ядра и картечь; остальная часть армии разместилась в укрытиях, покинутых пруссаками. Оба генерала устроились в большом редуте, в одной палатке.

Около пяти часов вечера, как только стемнело и обед подошел к концу, Пишегрю, сидевшему между Шарлем, на которого этот ужасный день, когда он впервые воочию увидел войну вблизи, навеял грусть, и Думерком, которого, напротив, то же зрелище сделало разговорчивее, чем обычно, показалось, что он слышит вдалеке какой-то звук, являющийся сигналом; он живо прикрыл одной из своих ладоней руку Думерка, чтобы тот замолчал, и поднес палец другой руки к губам, призывая всех прислушаться.

Воцарилась тишина.

И тут все услышали вдалеке звуки шарманки, игравшей «Марсельезу».

Пишегрю посмотрел на Гоша с улыбкой.

– Хорошо, господа, – сказал он. – Я разрешаю тебе говорить, Думерк. Думерк продолжал что-то рассказывать.

Только два человека поняли, почему Пишегрю прервал его, и обратили внимание на звуки шарманки.

Пять минут спустя, поскольку игра инструмента все приближалась, Пишегрю встал, непринужденно подошел к выходу и остановился на площадке возле крытой лестницы, которая вела к палатке.

Звуки шарманки слышались все ближе; было ясно, что музыкант взбирается на холм, и вскоре генерал заметил его в свете костров: он направлялся прямо к большому редуту, но, когда ему оставалось до входа в палатку не более двадцати шагов, его остановил окрик часового. Музыкант не знал пароля и поэтому снова принялся играть «Марсельезу», но при первых же тактах генерал крикнул с вершины холма:

– Пропустите его!

Часовой узнал генерала, свесившегося над бруствером, и, согласно отданному приказу, посторонился, пропуская музыканта.

Пять минут спустя Пишегрю оказался лицом к лицу со шпионом и жестом приказал Стефану, переставшему играть, следовать за ним.

Пишегрю отвел его в подвал, где были найдены съестные припасы генерала Ходжа; Леблан позаботился о том, чтобы туда принесли стол и два стула; на этот стол поставили лампу и чернильницу, положили бумагу и перья.

Леблана поставили у двери на часах, наказав ему никого не пропускать и даже не разрешать подходить близко, кроме генерала Гоша и гражданина Шарля.

Колокола окрестных деревень пробили поочередно шесть часов вечера (иногда на двух колокольнях звонили одновременно, но такое случалось редко).

Стефан сосчитал удары колокола.

– Хорошо, – сказал он, – темнота продлится еще двенадцать часов.

– Разве мы будем что-нибудь делать сегодня ночью? – живо спросил Пишегрю.

– Ну да, – ответил Стефан, – мы возьмем Вёрт, если Бог даст.

– Стефан! – вскричал Пишегрю, – если ты сдержишь свое слово, что я тебе должен тогда дать?

– Вашу руку, – сказал Стефан.

– Вот она, – сказал Пишегрю, взяв его руку и крепко пожав ее.

Затем он сел и жестом пригласил его сесть.

– Ну, а теперь, – спросил он, – что тебе для этого нужно? Стефан поставил шарманку в угол, но остался стоять.

– Для этого не позже чем через два часа мне потребовалось бы, – сказал он, – десять возов сена и десять возов соломы...

– Нет ничего проще, – ответил Пишегрю.

– ... шестьдесят решительных мужчин, готовых поставить жизнь на карту, и при этом чтобы хоть половина из них говорила по-немецки...

– У меня есть батальон эльзасских волонтеров.

– ... тридцать мундиров прусских солдат.

– Мы возьмем их у пленных.

– Надо, чтобы три тысячи человек во главе с опытным командиром вышли отсюда в десять часов и, пройдя через Энасхаузен, оказались в полночь в сотне шагов от Агноских ворот.

– Я приму на себя командование.

– Надо, чтобы один отряд стоял неподвижно и тихо до тех пор, пока не услышит крики «Пожар!» и не увидит сильное зарево; тогда он должен устремиться в город, ворота которого будут открыты.

– Хорошо, – сказал Пишегрю, – я понимаю; но каким образом ты заставишь в десять часов вечера открыть ворота военного города твоим двадцати повозкам?

Стефан достал из кармана бумагу.

– Вот постановление о реквизиции, – сказал он.

И он показал Пишегрю приказ хозяину гостиницы «Золотой лев» гражданину Бауэру доставить в течение суток десять возов соломы и десять возов сена для егерей Гогенлоэ.

– У тебя на все готов ответ, – засмеялся Пишегрю. Затем он позвал Леблана и сказал ему:

– Постарайся накормить гражданина Стефана получше и скажи Гошу и Шарлю, чтобы они зашли ко мне сюда.

## XXXI. ГЛАВА, В КОТОРОЙ ПЛАН ШАРМАНЩИКА ПРОЯСНЯЕТСЯ

В тот же день, около восьми часов вечера, двадцать повозок, десять из которых были нагружены соломой, а десять – сеном, выехали из Фрошвейлера.

Каждой из них правили возницы; памятуя о том, что на французском языке следует говорить с мужчинами, на итальянском – с женщинами и на немецком – с лошадьми, они разговаривали со своими лошадьми на языке, одобренном отборными ругательствами, которые двенадцатью годами раньше Шиллер вложил в уста своих разбойников.

Выехав из Фрошвейлера, повозки тихо покатались по тракту, ведущему в селение Эна-схаузен, расположенное на крутом повороте дороги, в этом месте поднимающейся прямо к Вёрту.

Они задержались в деревне лишь для того, чтобы возницы могли выпить стаканчик водки на пороге местного кабака, а затем продолжали путь в Вёрт.

Когда до ворот Вёрта оставалось сто шагов, первый возница (вероятно, главный) остановил свою повозку и направился в город; не прошел он и десяти шагов, как его остановил часовой, которому было сказано:

– Я сопровождаю реквизированные повозки и иду показаться дозору.

Его пропустил первый часовой, а потом второй и третий.

Дойдя до ворот, возница просунул свою бумагу в окошко ворот и стал ждать.

Окошко закрылось, и вскоре в воротах открылась небольшая дверь.

Из нее вышел сержант караульного отряда.

– Это ты, дружище? – спросил он, – а где же повозки?

– В сотне шагов отсюда, сержант.

Стоит ли говорить, что этот вопрос и ответ были произнесены по-немецки.

– Хорошо, – продолжал сержант на том же языке, – пойду погляжу на них и прикажу впустить.

И он вышел, наказав охране не терять бдительности.

Возница и сержант миновали три кордона часовых и дошли до повозок, ожидавших на дороге. Сержант мельком оглядел их и разрешил им ехать своей дорогой.

Повозки двинулись в путь в сопровождении сержанта, миновали три кордона часовых и въехали в ворота, закрывшиеся за ними.

– Теперь скажи, – сказал сержант главному вознице, – ты знаешь, где находится казарма егерей Гогенлоэ, или хочешь, чтобы я дал тебе провожатого?

– Не стоит, – ответил тот, – мы поедем в «Золотой лев» и, чтобы не шуметь ночью, завтра утром отвезем фураж в казарму.

– Ладно, – сказал сержант, возвращаясь в кордегардию, – спокойной ночи, друг.

– Спокойной ночи, – послышался ответ. Гостиница «Золотой лев» находилась не более чем в ста шагах от Агноских ворот, через которые повозки въехали в Вёрт. Главный возница постучал в окно; поскольку еще не пробило и десяти часов, хозяин гостиницы не спал. Он показался на пороге.

– А, это вы, Стефан? – сказал он, глядя на длинную вереницу повозок: первая из них подъехала к воротам его гостиницы, а последняя стояла всего в нескольких шагах от въездных ворот.

– Да, господин Бауэр, он самый, – ответил главный возница.

– Все в порядке?

– Просто чудесно.

– Въехали без затруднений?

– Без помех... А как здесь?

– Мы готовы.

– Адом?

– Хватит одной спички, чтобы его поджечь.

– Значит, надо будет завести повозки во двор; наши люди, должно быть, уже задышались. К счастью, двор был огромный, и двадцать повозок смогли там разместиться.

Затем ворота закрыли.

И тут по условному сигналу, после того как все возницы три раза хлопнули в ладоши, произошло нечто странное.

Вязанки сена и соломы на всех повозках задвигались; Затем посредине каждой повозки возникли сначала две головы, затем – два туловища и наконец полностью показались двое мужчин в прусской форме.

Затем из каждой повозки извлекли по такому же мундиру и бросили их возницам; те, скинув свои блузы и штаны, переоделись в прусскую форму.

В довершение всего солдаты, стоявшие на повозках по двое, вскинули ружья на плечо, а свои третьи ружья стали передавать возницам, ставшим солдатами; таким образом, когда пробило десять часов, под началом Стефана, одетого в шинель с сержантскими нашивками, находилось шестьдесят мужчин, решительных, говоривших по-немецки, – всех, кого он просил у Пишегрю.

Всех их построили в большой конюшне (дверь ее закрыли) и приказали зарядить ружья, которые из предосторожности держали в повозках незаряженными.

Затем Бауэр и Стефан вышли, держа друг друга под руку; Бауэр вел Стефана, не знавшего город, к дому, стоявшему в самой высокой точке города, на противоположном конце от Агноских ворот, приблизительно в сотне шагов от порохового склада.

Этот дом, несколько напоминавший особняки великого герцогства Баденского или швейцарские шале, был целиком построен из дерева.

Бауэр провел Стефана в комнату, забитую горючими материалами и смолистым деревом.

– В котором часу следует поджечь дом? – спросил он просто, как ни в чем не бывало.

– В половине двенадцатого, – ответил Стефан. Было около десяти часов.

– Ты уверен, что в половине двенадцатого генерал будет на посту?

– Будет собственной персоной.

– Понимаешь, – продолжал Бауэр, – когда пруссаки узнают, что горит дом рядом с пороховым погребом, они бросятся на место пожара и попытаются помешать огню добраться до артиллерийского парка и порохового погреба. В это время вся Агноская улица будет свободна; настанет момент завладеть воротами и войти в город. Генерал доберется до центральной площади беспрепятственно; когда же прозвучит первый выстрел, пятьсот патриотов откроют окна и начнут стрелять по пруссакам.

– У вас есть люди, которые ударят в набат? – спросил Стефан.

– По двое в каждой церкви, – ответил Бауэр.

– Значит, все в порядке, – сказал Стефан, – пойдем посмотрим на пороховой погреб.

Они пошли назад по земляному валу; пороховой погреб и артиллерийский парк, как и сказал Бауэр, находились не более чем в ста пятидесяти шагах от деревянного дома, поджог которого должен был послужить сигналом к началу действий.

В одиннадцать часов они вернулись в гостиницу «Золотой лев».

Шестьдесят человек были наготове; каждый из них получил рацион, состоявший из хлеба, мяса и вина: обо всем этом позаботился Бауэр. Солдаты были воодушевлены: они понимали, что им поручена важная операция, и это наполняло их радостью и гордостью.

В четверть двенадцатого Бауэр пожал Стефану руку, убедился, что огниво, кремень, трут и палочки для зажигания лежат у него в кармане, и направился к деревянному дому.

Стефан, оставшийся со своими людьми, собрал их и разъяснил им свой план; каждый понял, что ему нужно делать, и все дали слово, что будут стараться изо всех сил.

Теперь надо было ждать сигнала.

Часы пробили половину двенадцатого.

Стефан стоял у самого верхнего окна в доме Бауэра и следил, не покажутся ли первые отсветы пожара.

Лишь только смолк бой часов, красноватое зарево расцветило крыши домов в верхней части города.

Затем послышался глухой шум голосов, сопутствующий в городах всякой беде.

Вслед за этим, заглушая все крики, на одной из колоколен раздались скорбные звуки набата, тотчас же подхваченные другими колоколами города.

Стефан спустился вниз: час настал.

Солдаты разделились во дворе на три группы по двадцать человек.

Поляк приоткрыл ворота, выходящие на улицу, и увидел, что все бегут в сторону верхнего города.

Он приказал своим людям направиться шагом к воротам города под видом патруля.

Сам он помчался вперед, крича по-немецки:

– Пожар в верхнем городе, друзья! Пожар рядом с пороховым погребом! Горим! Спасайте зарядные ящики! Пожар! Не дадим взорваться пороховому погребу!

Потом он подбежал к кордегардии, где находился отряд из двадцати четырех человек, который охранял ворота; часовой, прогуливавшийся перед кордегардией взад и вперед, даже не подумал задержать Стефана, приняв его за сержанта охраны.

Тот устремился в кордегардию с криком:

– Все – в верхний город, спасайте зарядные ящики и пороховой погреб! Пожар, пожар!

Из двадцати четырех человек, охранявших кордегардию, на месте не осталось ни одного.

Лишь часовой, связанный уставом, остался на посту.

Но его разбирало любопытство, и, отступив от правил, он обратился к сержанту с вопросом, что происходит, и Стефан, сделав вид, что благоволит к нижестоящим, сообщил ему, как по недосмотру слуги загорелся деревянный дом хозяина гостиницы «Золотой лев».

Тем временем сзади подошел отряд.

– Что это? – спросил часовой.

– Ничего, – сказал Стефан, – обычный патруль!

С этими словами он прижал носовой платок к губам часового, чтобы он не кричал; затем он подтолкнул этого охранника к двум ближайшим солдатам, которые держали веревки наготове и в один миг связали его, заткнули ему рот, отнесли в кордегардию и заперли в кабинете начальника охраны.

Один из людей Стефана встал на часах.

Теперь следовало узнать пароль пруссаков, и Стефан взял это на себя. Держа в одной руке ключ от кабинета начальника охраны и в другой – острый кинжал, который он достал из-за пазухи, Стефан вошел в кабинет.

Мы не знаем, к какому средству он прибег; тем не менее часовой заговорил, хотя во рту у него был кляп...

Паролем было слово «Штеттин», ответом – «Страсбург».

Стефан передал его своему караульному.

Затем солдаты ворвались в каморку сторожа; его тоже схватили, заткнули ему рот, связали и заперли в погребе.

Стефан завладел ключами и расставил пятьдесят пять человек с заряженными ружьями в кордегардии и каморке сторожа, приказав им, если потребуется, защищать ворота до последней капли крови.

Наконец он вышел с пятью солдатами за ворота, чтобы убрать часовых, стоявших снаружи.

Через десять минут двое из них были убиты, а третий взят в плен.

Трое из пяти человек Стефана заменили пруссаков – двух убитых и одного пленного.

Направившись с двумя солдатами в сторону Энасхаузена, Стефан не успел сделать и пятисот шагов, как столкнулся во мраке с плотной и темной массой людей. То были три тысячи солдат Пишегрю. Он оказался лицом к лицу с генералом.

– Ну что? – спросил тот.

– Нельзя тратить ни секунды, генерал, пошли.

– А что с Агноскими воротами?

– Они в наших руках.

– Пошли, ребята, – сказал Пишегрю, понимавший, что не время вдаваться в подробности, – живо, вперед!

## XXXII. ТОСТ

Солдаты подчинились с радостью и воодушевлением, что дарует надежда.

Пишегрю и Стефан, шагавшие во главе отряда, услышали звуки ожесточенной перестрелки, которые доносились с той стороны, где Стефан оставил своих людей.

– Поспешим, генерал, – сказал Стефан, – наших людей атакуют.

Колонна побежала, не соблюдая равнения. При ее появлении опускающая решетка поднялась и ворота открылись; несмотря на то что республиканцев атаковали втрое превосходящие силы противника, они стойко держались: ворота по-прежнему оставались в их руках. Колонна ворвалась в ворота с криками «Да здравствует Республика!». Люди Стефана, прусская солдатская форма которых делала их мишенью для тех, кто не был в курсе тактической уловки Пишегрю, прижимаясь к стене, добрались до кордегардии и укрылись у офицера охраны. Подобно кабану, наносящему удары клыками, сметая все перед собой, колонна ринулась на улицу, опрокидывая все и вся на своем пути.

Когда она шла в штыковую атаку и горстка пруссаков, Штурмовавших ворота, разбежались перед ней, даже не пытаясь обороняться, спеша присоединиться к более многочисленной воинской части и, главное, сообщить, что французы завладели Агноскими воротами, в двух-трех местах города послышался треск ружейной стрельбы.

То Бауэр и его люди открыли огонь из окон.

Въехав на главную площадь города, Пишегрю смог оценить всю степень ужаса, охватившего пруссаков. Они разбежались в панике в разные стороны куда глаза глядят. Тотчас же генерал развернул колонну в боевой порядок и открыл огонь по беглецам, в то время как другая колонна численностью около тысячи человек устремилась к верхнему городу, то есть туда, где оказалось наиболее значительное скопление сил.

Мгновенно бой завязался в двадцати точках; захваченные врасплох, пруссаки даже не пытались пробиться к общему центру сопротивления, настолько стремительной была атака и настолько сильное смятение в их рядах посеяли пожар, грохот набата и стрельба из окон; численность неприятеля была примерно равна количеству людей Пишегрю и Макдональда; если бы французы не обладали всеми преимуществами, бой был бы еще более жарким.

В полночь пруссаки оставили город, озаренный последними отсветами пожара, объяввшего дом хозяина гостиницы Бауэра.

Лишь в десять часов утра Пишегрю лично убедился в том, что враги окончательно отступили. Он расставил повсюду пикеты, отдал предписание охранять ворота с неусыпной бдительностью и приказал солдатам разбить биваки на улицах. Ликование охватило город, и все, как могли, старались помочь освободителям разместиться.

Поэтому каждый из жителей внес в это свою лепту: одни принесли соломы, другие – сена, тот – хлеба, тот – вина; двери всех домов распахнулись, запылали очаги, и в этих очагах, в этих необъятных, столь модных в конце прошлого века каминах, которые еще встречаются изредка в наши дни, задымились вертела.

Вскоре было устроено шествие, наподобие тех, которые обычно проходят в северных городах накануне карнавала; прусские мундиры, пригодившиеся солдатам Пишегрю для захвата Агноских ворот, были отданы простолюдинам, чтобы те сделали чучела.

Город был залит светом: все дома сверху донизу были освещены плашками, фонарями или свечами. Все торговцы вином и содержатели харчевен накрыли посреди улиц столы, и каждый горожанин брал солдата за руку, приглашая на братский пир.

Пишегрю даже не подумал препятствовать этому изъятию патриотических чувств. Будучи выходцем из народа, он поддерживал все, что могло способствовать духовному единению

нию народа и армии. Необыкновенно умный человек, он понимал, что именно в этом залог силы Франции.

Опасаясь только, что неприятель в свою очередь может воспользоваться неосмотрительностью французов, он приказал выставить двойные пикеты, а чтобы каждый мог принять участие в празднике, сократил время пребывания часовых на посту до одного часа вместо двух.

В Вёрте оставалось около двадцати аристократов; они осветили свои дома, как и другие, и даже более ярко, чем другие, вероятно опасаясь, как бы их не обвинили в недоброжелательном отношении к правительству и как бы в нынешнюю пору репрессий это не причинило вреда им самим или их имуществу. Но они волновались напрасно: в качестве наказания у дверей их домов лишь развели костры, на которых были сожжены соломенные чучела в прусских мундирах.

Вблизи этих домов веселье было даже безудержнее, хотя и не чистосердечнее; тот же страх, что вынудил их владельцев и обитателей устроить более пышную иллюминацию, заставил их также более наглядно выразить свою лояльность. Вокруг костров накрыли столы, и аристократы, радуясь, что столь дешево отделались, устали эти столы разнообразными яствами.

Пишегрю остался на площади с саблей в руке, посреди примерно тысячи человек, чтобы оказать помощь там, где она потребуется; однако серьезных очагов сопротивления уже не осталось, и он, не сходя с места, выслушивал донесения и отдавал распоряжения. Когда он увидел, что его приказ разбить на улицах биваки послужил поводом для народного гулянья, он одобрил это, как уже было сказано, и, передав командование Макдональду, направился в сопровождении Стефана к верхнему городу, где сражение было наиболее жарким.

В тот момент, когда Пишегрю подходил к дому Бауэра (поджог его, повторяем, послужил сигналом к бою), пол верхнего этажа обрушился и в небо взметнулись мириады искр; пол, который был из дерева, как и все остальное, будто попав в катер вулкана, запылал с такой силой, что в этом ослепительном свете, с высоты, где стоял дом, можно было видеть вдали два рукава реки Соубах и на уступах холмов – построенную в боевом порядке прусскую армию, со стыдом и смущением смотревшую на это веселье и иллюминацию.

Пишегрю вернулся в гостиницу в три часа ночи. Бауэр просил как одолжения, чтобы генерал поселился у него, и тот согласился. Для него приготовили самые роскошные апартаменты «Золотого льва», и, в то время как Пишегрю совершал обход города, лестница была украшена флагами, венками и приветствиями; окна столовой были убраны ветвями вечнозеленых деревьев и цветами; наконец, для генерала и его штаба был накрыт стол на двадцать пять персон.

Пишегрю, как мы уже видели на ужине, устроенном для него в Арбуа, проявлял полное равнодушие к подобным торжествам. Но на сей раз было совсем иначе, и он расценивал этот прием как республиканскую трапезу.

Генерал привел с собой представителей местной власти: они не только явились к нему первыми, но также направили жителей Вёрта на братание с армией.

Проводив генерала до дверей гостиницы, Стефан собирался незаметно уйти, но генерал удержал его, взяв за руку.

– Стефан, – сказал он, – я всегда следовал пословице «Счет дружбы не портит». Ну а перед вами я в двойном долгу.

– О, мы скоро рассчитаемся, генерал, – ответил Стефан, – если вы снизойдете к двум просьбам, с которыми я собираюсь к вам обратиться.

– С удовольствием.

– Я попрошу приглашения на ужин.

– Для вас?

– О, генерал, вы ведь знаете, что я всего лишь шпион.

– Для всех, но для меня...

– Пусть я буду самим собой для вас, этого мне достаточно, генерал; для других я останусь тем, чем кажусь. Я не добиваюсь уважения, а стремлюсь только к мести.

– Хорошо; о чем вы еще просите?

– Чтобы вы произнесли тост.

– В честь кого?

– Вы узнаете об этом, когда будете его произносить.

– Но ведь для того, чтобы его сказать, нужно...

– Вот готовый текст.

Пишегрю собирался прочесть эти строки, но Стефан остановил его.

– Вы прочтете его, – сказал он, – когда поднимете бокал. Пишегрю положил бумагу в карман.

– Кого же я должен пригласить?

– Великого гражданина – Проспера Бауэра.

– Хозяина этой гостиницы?

– Да.

– Что же такого великого он сделал?

– Вы узнаете об этом, когда зачитаете тост.

– Ты всегда будешь говорить загадками?

– Именно в загадках секрет моей силы.

– Ты знаешь, что завтра мы будем атаковать неприятеля.

– Нужны ли вам сведения о его позициях?

– Ты, наверное, устал.

– Я никогда не устаю.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.